

Одно мгновение

Анн Филип

Перевод К. Северовой

Печаль низвергает человека
с вершины совершенства.

Спиноза

I

Я просыпаюсь рано. Еще темно. Не открывая глаз, я стараюсь снова глубоко погрузиться в сон, но тщетно. Я на каком-то печальном и пасмурном берегу, где-то на полпути между явью и кошмаром. Самое разумное было бы зажечь лампу и почитать, не дать мыслям заплутаться в лабиринте, но усталость делает меня безвольной, и я плыву к ярким воспоминаниям. Иногда я причаливаю к ним, и тогда они захватывают меня настолько, что я не могу отделить их от действительности. Но сознание не дремлет, и я скольжу от воспоминания к воспоминанию, поворачиваю голову к твоей подушке, которую по-прежнему кладу справа от своей, и снова вижу твое мертвое лицо, обращенное к моему пустому месту рядом с тобой в ту минуту, когда жизнь покинула тебя. Я вижу твои открытые глаза, спокойное, отсутствующее выражение твоего лица, раскрытые ладони твоих рук, которые подсказали мне тогда, что никакое страдание, никакой ужас не терзали тебя в последний миг. Потом, когда я долго смотрела на тебя, держала твою холодную руку, которая уже начинала костенеть, гладила твое лицо, я почувствовала, что ты отдыхаешь на нашей постели, как на берегу, а меня, потому что я еще жива, помимо моей воли уносит каким-то непреодолимым потоком. Ты навсегда стал недвижим, а я некоторое время еще буду двигаться. Смерть разлучила нас навеки.

Я открываю глаза, зажигаю лампу, я встаю против самой себя. Начинается новый день, он не принесет мне никакой радости. Ты один видел меня, я одна видела тебя. Сегодня мне не с кем обменяться взглядом. Я живу впустую. Я знала, что так будет. В те дни, каждый из которых мог быть последним, я смотрела на тебя, я искала любовь, а находила смерть. Я молча молила: «Смотри же и ты на меня, смотри, ведь у меня останутся хотя бы воспоминания, у тебя же ничего. Все исчезнет, ты не сможешь даже помнить. Небытие. Ты скоро возвратишься в небытие». Я была полна тобой, я тонула в твоих жестах и твоих взглядах. Я улыбалась тебе, чтобы увидеть, как рождается улыбка на твоих губах, я целовала твои руки, чтобы видеть, как ты целуешь мои. И я твердила себе, что никогда, никогда не забуду этого. Я хотела, чтобы каждый твой поцелуй навсегда запечатлелся на моем теле, чтобы каждая моя ласка помешала тлению завладеть тобой. Я боролась, не имея надежды на успех. Я была побеждена, потому что был побежден ты, но ты не знал о своем поражении.

Я хотела бы все время идти не останавливаясь. Мне кажется, только так я смогу жить. Я любила шагать с тобой в ногу. Что в мире могло быть прекраснее. Куда я иду сегодня? Ведь идти — это не значит только переставлять ноги. Где моя цель? Я повинуюсь строгому приказу: жить, помогать жить детям. Это почти легко, и только так, сведя все к этой формуле, я смогу выполнять свой долг.

Мне хорошо в тиши зимы, когда земля голая, без запахов. Я тоже стараюсь погрузиться в спячку. Весной я поплыву по течению. Солнце, распускающиеся почки, ароматы, пение птиц затопят меня.

Глядя на первый цветок, разве можно не восхищаться им, не стремиться жить так же просто, как он? Нужно ли мне будущее, в котором нет тебя?

Я иду по Люксембургскому саду. Иду по тем же дорожкам, что и два года назад. Тогда утро только занималось. Стулья были пусты. Торопливо бежали несколько школьников. Струи фонтана устремлялись в жемчужный свет утра — ведь тогда не было дождя, как сегодня, хотя дело шло к зиме. Листья на деревьях умирали, ветер гнал их по аллее, я наступала на них. Листья вырастут другие. Но могла ли я утешиться тем, что в то время, как ты умираешь, кто-то рождается? Я бесцельно кружила по знакомым и любимым дорожкам. Стволы деревьев казались мне прутьями решетки. Я говорила тебе все, что мы никогда уже не скажем друг другу. Я дышала медленно, полной грудью. Я не решалась сесть, мне было страшно остановиться. Я шла куда глаза глядят, жадно глотая воздух. Я не искала способа спасти тебя, потому что приговор был уже вынесен. Он был ужасен. Вот и все.

До этого я никогда не задумывалась о смерти. Она для меня не существовала. Меня интересовала только жизнь. Смерть? Встреча с ней неизбежна, и все же она никогда не состоится, потому что когда приходит наша смерть, уходим мы. Она вступает в свои права в тот миг, когда мы перестаем существовать. Она или мы. В нашей власти сознательно пойти ей навстречу, но можем ли мы хоть одну секунду побыть с ней, разве она не мгновенна, как молния? Мне предстояло навеки разлучиться с тем, кого я любила больше всего на свете. «Никогда больше» уже стояло у нашего порога. Я знала, отныне ничто, кроме моей любви, не будет связывать нас. Я понимала, что, если даже какие-то тончайшие клетки, называемые душой, и бессмертны, все равно они не обладают памятью и наша разлука будет вечной. Я твердила себе, что смерть — это еще не самое страшное, страшнее ее приближение: физическое страдание и боль при мысли, что ты покидаешь своих близких, начатую работу, а тебя все это минует. Но тебя не будет!

Горестные воспоминания охватывают меня. Я возвращаюсь в свое детство и неизбежно снова погружаюсь в эту черноту ночи и копоти, мне чудится, будто меня засасывают пески, будто меня кто-то душит. Мне четыре или пять лет. Я с матерью на вокзале. Мы стоим у окошечка кассы. Когда подходит наша очередь, мать говорит: «До В. один билет туда и обратно и один детский только туда...» Я не вижу человека, к которому обращается мама, но все слышу и прижимаюсь к ней. Может быть, я и не прижималась, не знаю, но и сейчас еще я хорошо помню, как каждой клеточкой своего существа стремилась к ней, как к единственной гавани, единственному убежищу в мире. Мы в поезде. Мне знакома каждая станция. Я еду по этой дороге уже не в первый раз. Я знаю, что меня ждет. Мысленно я прикидываю, сколько еще времени остается мне побыть с мамой, краткая разлука, которая нам предстоит, кажется мне долгой, как сама жизнь. Я думаю, что уже научилась не плакать, но внутри у меня какой-то спрут, он сжимает мне сердце, поднимается к горлу и делает слюну горькой. Как и многие дети, я — дочь разведенных родителей, которые, после того как ушла любовь, хотят отомстить друг другу. Я — орудие мести. Обычная история, короче говоря. Настало время мне быть с отцом, но я провожу его не у отца, а у его брата и невестки. Поезд останавливается: В... Мне остается не больше четверти часа жизни. Сейчас мы сядем в коляску, и тогда я прильну к маме. Лошадь тащится еле-еле, потому что улица Франс поднимается в гору и петляет. Вот и последний поворот. Я вижу дом, такой же белый, как и другие, с зеркальцем на первом этаже, которое позволяет незаметно посмотреть, кто звонит или идет мимо. Я могу еще сосчитать до двадцати, потому что коляска должна развернуться — дом на левой стороне улицы. Потом мама изо всех сил обнимет меня, а я крепко поцелую ее. Она уедет в этой же коляске, даже не выйдет из нее, а я, стоя рядом с тетей, помашу ей рукой — лицемерное прощание! — в то время как мое сердце будет разрываться от горя, но я знаю, этому я уже научилась, здесь нельзя выдавать свои чувства. Я прохожу в дом. Первая комната налево — гостиная. Туда никогда не заходят. Чехлы, ковры, стены — все одного цвета. Дальше — столовая. Из нее выход на маленький дворик; несколько ступенек ведут со двора в сад. Но в столовой я не вижу ничего, кроме большого зеркала, оно — мое наказание, во время обеда я всегда сижу против него. Каждый раз, стоит лишь мне

поднять глаза, я слышу: «Перестань смотреться в зеркало!» Я опускаю голову и молча жую, но кусок застревает у меня в горле. «Ешь!» Тишина. Мерзкая тишина, нарушаемая только стуком приборов. Дядя и тетя не разговаривают друг с другом. Это не любящие муж и жена, а супруги, да к тому же супруги бездетные.

Да, там я чувствовала себя несчастной. Позднее я возмущалась и бунтовала и твердо решила устроить свое счастье.

II

— Сколько это продлится? — спросила я у врачей, когда они пригласили меня в маленькую комнатку рядом с операционной.

— Месяц, самое большее — полгода.

— А вы не могли бы, пока он еще спит, сделать так, чтобы он не проснулся?

— Нет, мадам.

Пять минут назад я поднялась со стула в зале ожидания, где была вместе с нашими самыми близкими друзьями. Пришла медицинская сестра: «Просят мадам X». Я пошла за ней, думая: «Это слишком быстро. Мне сказали через полтора часа, а с тех пор, как его увезли, прошло всего минут двадцать». Когда я увидела, как ко мне подходят четыре врача в белых халатах, я словно в открытой книге прочла приговор на их лицах. Один из них молча придвинул мне стул. Я все поняла. Начиналась моя казнь, а тот, кто был приговорен, спал в нескольких метрах от меня.

— Он будет страдать?

— Нет, скорее всего, смерть наступит от истощения.

Я снова спустилась вниз. Это был тот же самый лифт, и казалось, что в нем спускается та же женщина, но в душе моей наступил конец света. Я сказала кому-то: «Никакой надежды». Меня позвали к телефону, и я начала глгать. Немного позже я вошла в палату, ты уже был там. Сестра ставила к твоей левой ноге капельницу. Из-за носового зонда дыхание у тебя было тяжелое. А ведь все могло быть иначе: ты лежал бы с таким же бледным и печальным лицом, лицом человека, который просто еще не проснулся после наркоза, но потом все было бы хорошо. Именно так я думала в минуты надежды: три страшных дня — и снова перед нами вся жизнь. Три страшных дня прошли, за ними встала смерть, а между нами — ложь.

Даже на спящего я не решалась смотреть на тебя с отчаянием, с безумием, которое овладевало мною. Я старалась, чтобы мой взгляд был спокоен, я репетировала перед тобой, лежащим без сознания, комедию, которую должна была отныне разыгрывать, — это все, что мне осталось в нашей совместной жизни. В последний раз мы обменялись с тобой любящими взглядами как равный с равным в ту минуту, когда санитар перекладывал тебя на каталку.

III

Это было восемь лет назад. В одну из суббот. Было холодно. В Париже весна еще не чувствовалась, но за городом она давала о себе знать, несмотря на пасмурное небо и голые деревья.

Мы ехали, ориентируясь по маленькому плану, который нам дали в агентстве по продаже недвижимого имущества. Мы немало поплутали, прежде чем добрались до деревни и разыскали высокие железные ворота. Они были закрыты. Мы прошли по аллее, и в самой глубине ее перед нами открылся дом — уродливый, выкрашенный желтой и красной краской,

с крыльцом посередине, которое торчало, словно бородавка на носу. Только крыша из старинной черепицы была красива. Немолодой мужчина косил на одной из лужаек траву. Он подошел к нам. Держался он подчеркнуто прямо, как кавалерийский офицер. Я помню его безукоризненно завязанный галстук, целлулоидный воротничок, фетровую шляпу, светлые, чуть насмешливые глаза. Внимательно оглядывая нас, он отвечал короткими фразами.

Да, имение продается. Мы можем осмотреть его. «Но домом, — добавил он, — я не ведаю. Если угодно, я сейчас позову мадам». Мадам — это его жена. Он сходил за ней, она пришла, кутаясь в сиреневую шаль, с ключами в руках. Очень учтиво поздоровавшись, она пригласила нас следовать за ней. Мы открыли ставни, осмотрели дом, и фантазия моя разыгралась. Вид из каждого окна был весьма романтический. Метрах в двадцати от дома протекала река, кругом росли деревья. Тишина. А что касается дома, то он будет таким, каким мы его сделаем. В нем будет царить любовь.

Садовник ожидал у двери. Он повел нас в парк. Перед каждым деревом он останавливался, поглаживая рукой ствол, показывал первые почки.

— Все каштаны переболели, — говорил он, — кроме одного, который растет перед домом, у него цветы такие красные, что озаряют весь фасад. Этот дуб — самый замечательный дуб в округе, посмотрите, у него совершенно ровный ствол, а там, выше, рядом с небольшой березовой рощей, аллея кедров, ее посадили на моей памяти, эта мысль возникла у одного из прежних владельцев, он, кстати, единственный хоть что-то понимал в деревьях и любил их, а другие, что были после, предпочитали Межев или Лазурный берег. Деревню надо знать и любить. Вы любите деревню?

— Да, любим.

— Здесь вся моя жизнь, — сказал он. — Но я ведь только садовник, меня можно выставить за дверь. — Он сказал это, глядя нам в глаза с восхитительным высокомерием.

С этого момента я полюбила мосье Б. В саду, расположенном тремя террасами, он показал нам фруктовые деревья, рассказал о земле, разминая комья пальцами. Мы осмотрели окаймленные тимьяном грядки с морковью, салатом, земляникой, заросли пионов. По другую сторону каштановой аллеи простиралась обширная заброшенная часть парка, заросшая кустарником, мохом, плющом. Там было много валежника. Потом мы прошли по тропинке, которая тянулась вдоль Уазы.

С крутого берега мы помахали матросам на барже. Мосье Б. река не интересовала.

— Летом здесь можно купаться?

Вопрос, должно быть, показался ему нелепым.

— Если вам не противно, купайтесь. Находятся любители, но там полно мазута идохлых кошек.

На краю одной лужайки мосье Б. показал нам предмет своей гордости: деревья, постриженные в форме петухов и каких-то птиц.

— Это, скажу вам, работка! Чтобы так постричь дерево, нужно время и умение. Нынешние садовники не хотят этому учиться, слишком много возни.

На наш взгляд, это было пределом искусственности, тем, что мы ненавидели всей душой, но, растроганные, мы проявили такт и выразили свое восхищение.

В тот день мы больше ничего не смотрели. Покидая имение, мы остановились на пригорке. Воды Уазы среди еще черных полей несли с собой отражение облаков; вддали, почти на линии горизонта, виднелась церковь, окруженная домами. Зрелище было красивое, мы залюбовались им. Меня охватило непреодолимое желание сказать тебе что-то, но я

промолчала, во всяком случае, умолчала о главном. Я еще не была достаточно уверена, что жду ребенка, чтобы ты разделил со мною эту зыбкую радость.

Две недели спустя мы снова приехали туда. Весна бушевала. Мы оставили машину на том же месте. Солнце было уже высоко, и, слушая тишину полей, мы наблюдали, как оно медленно съедает туман и открывает среди деревьев крышу дома, который мы только что купили.

Прошло время. Родились дети. Это такой же вечер, как другие. Я жду тебя. Я знаю не только шум нашей машины, но по тому, где ты прибавляешь скорость или, на оборот, притормаживаешь, даже могу угадать, какое у тебя настроение. Лежа с закрытыми глазами, я слушаю каждый шорох ночи. Вот и ты. Ты останавливаешься, что бы открыть ворота, которые больше не скрипят, ты так и оставляешь их открытыми, потому что устал, под колесами шуршит галька, свет фар скользит по закрытым ставням, ты разговариваешь с собакой, поднимаешься по лестнице, снимаешь туфли, чтобы не разбудить меня. Тыходишь. Ты здесь. Это жизнь.

Все в доме еще спят, когда я выскальзываю в сад. Самый прекрасный, как я его называю — непостижимый — час. Река сверкает в легкой дымке, на лужайках еще лежит ночная роса, в саду и розарии крутятся дождевальные установки, садовник собирает овощи, и мы вместе осматриваем фруктовые деревья — на них уже зреют плоды. Каждое утро я прихожу сюда проведать березы и кедры, персиковые деревья и смоковницы, сорвать цветы, которые уже распустились. Когда ты проснешься, я расскажу тебе, что нового в нашем саду.

Сентябрьская ночь, мы возвращаемся из дальнего путешествия. Никто нас не услышал, собака не залаяла, она, выражая свою радость, молча льнет к нам. Мы садимся на каменную ограду, которая возвышается над рекой. Полная луна заливает своим светом дом и парк, в котором нам знаком каждый уголок.

Много лет мы предчувствовали, что наша любовь откроет перед нами неограниченные возможности созидания: у нас будут дети, работа, друзья, дом, и, может быть, мы даже поможем сделать мир лучше. Время свершения пришло. Мы оказались восторженными строителями. В ту ночь то ли оттого, что поездка на чужбину придала нашим чувствам особую остроту, то ли оттого, что ночь была так прекрасна, мы вдруг осознали, что наши мечты воплотились в жизнь.

Когда я услышала, что ты должен умереть, я сразу поняла, что никогда больше не вернусь в наш дом. И все же один раз, по твоей просьбе, мне пришлось поехать туда. Мосье Б., как и в первый раз, когда мы его увидели, работал: на той же самой лужайке сгребал опавшие листья старого каштана с красными цветами. Мы обнялись. Он спросил, как ты себя чувствуешь. Ты чувствуешь себя хорошо. Ты вернешься, как только сможешь встать.

Дети поиграли. Я приготовила чай, и мы выпили его, глядя на аллею, откуда обычно появлялась твоя машина. Больше я никогда не бывала в этих местах. Они потеряли для меня очарование. То, что мы там создали, будет жить без нас. Я неистово восставала против деревьев, цветов, собаки, птиц и особенно против вещей, которые продолжали существовать, — этих стен, мебели, безделушек, одежды, аккуратно развешенной в шкафу. Вещи, не имеющие собственной жизни, но долговечные, брали реванш. В тот послеполуденный час мне показалось справедливым и естественным, чтобы в мгновение, когда замрет твой последний вздох, земля здесь разверзлась и поглотила бы все.

Я вспоминаю одну ночь, которую мы провели в саду, где теперь я хожу без тебя. Это одно из тех мест, которые после твоей смерти я избегаю.

Была полночь. Мы вышли из театра последними. Шел снег. Мы брели, взявшись за руки. Говорить не хотелось, да в этом и не было нужды. Мы шли без цели, но и без колебаний. Изредка медленно и бесшумно проезжали машины. Улицы казались мне необитаемыми, но, быть может, это наша любовь в тот вечер отрешила нас от мира. Рядом с нами были ночь и небо, Париж был далеко. С улицы Вавэн мы вышли к Люксембургскому саду. Ты сказал: «Войдем?»

Мы перелезли через ограду и оказались в сказочном мире. Снег взлетал под нашими ногами. Мы были счастливы и создавали это. Светлая, тихая радость, когда ты уверен, что все может быть только хорошо! Ты снял пальто, и мы сели на него. В темноте мы смотрели друг на друга. Я видела твои ясные глаза и припорошенные снегом ресницы. Город был в двух шагах, за оградой, он окружал нас. Пробыло три часа. Почему я вдруг подумала о несчастье? Не о том, что оно может постичь нас, — тогда мне казалось невероятным даже представить себе что-либо подобное, — а о несчастье других. Именно в эту минуту одни люди умирали, другие убивали; рушились семьи; плакали от одиночества дети; мужчины и женщины, лежа в постелях, подводили итог своим бедам. Очень далеко от нас, в Индокитае, люди мучились в предсмертной агонии или мучили других. С тех пор как возникла жизнь, каждую секунду кто-то радуется и страдает, рождается и умирает, и так будет всегда, до тех пор, пока существует мир. Мы сидели замерев, замороженные счастьем; рука в руке, голова к голове. Один из нас сказал: «Если когда-нибудь придет беда, постараемся держаться достойно». Другой ответил: «Я обещаю тебе это».

Мы ушли оттуда, когда город начал просыпаться. Вернувшись домой, мы даже не пытались уснуть. Я любила эту бессонную ночь, чистую как снег и такую прекрасную, что я не хочу утратить из нее ни одного мгновенья.

V

Бывают дни, когда я не доверяю себе, я должна быть постоянно начеку. Я могу не выдержать. Нужно, чтобы я все время была чем-нибудь занята. Я тружусь, как мура вей. Запрещаю себе думать. У меня одна цель: прожить этот час и так, час за часом, добраться до того времени, когда я не буду окружена пустотой. Но боль иногда подкрадывается исподтишка. Утро начинается хорошо. Я научилась вести двойную жизнь. Я думаю, говорю, работаю, и вместе с тем я вся поглощена тобой. Время от времени предо мною возникает твое лицо, немного расплывчато, как на фотографии, снятой не в фокусе. И вот в такие минуты я теряю бдительность: моя боль — смиренная, как хорошо выдрессированный конь, и я отпускаю узду. Один миг — и я в ловушке. Ты здесь. Я слышу твой голос, чувствую твою руку на моем плече или слышу у двери твои шаги. Я теряю власть над собой. Я могу только внутренне сжаться и ждать, когда это пройдет. Я стою в оцепенении, мысль несется, как подбитый самолет. Неправда, тебя здесь нет, ты там, в ледяном небытии. Что случилось? Какой звук, запах, какая таинственная ассоциация мысли привели тебя ко мне?

Я хочу избавиться от тебя, хотя прекрасно понимаю, что это самое ужасное, но именно в такую минуту у меня недостает сил позволить тебе завладеть мною. Ты или я. Тишина комнаты вопиет сильнее, чем самый отчаянный крик. В голове хаос, тело безвольно. Я вижу нас в нашем прошлом, но где и когда? Мой двойник отделяется от меня и повторяет все то, что я тогда делала.

Я ходила из одной комнаты в другую во вселенной дома, как ходил бы по Парижу или Нью-Йорку человек, узнавший о неминуемом конце света. Светопреставление — твоя смерть. И в то же время я понимала, что мир будет жить и без тебя.

Тем не менее я делала все, что от меня требовалось.

Как могла я держаться так, словно ничего не произошло? Я внимательно разглядывала себя в зеркало, как разглядывает молодая счастливая женщина наутро после свадьбы. Нет, ничего нельзя было прочесть на моем лице. Горе отложит на нем свой отпечаток позднее, а пока еще оно отражало недавнее счастье. Я могла быть спокойна: ты ни о чем не догадываешься. Выражение моего лица и моя улыбка не изменились. Движения — тоже. Я принимала ванну, и мы разговаривали через комнату. Я закрывала глаза, чтобы лучше слышать тебя. Никогда я не слушала тебя так и все равно знала; что неминуемо наступит день, когда твой голос ускользнет из моей памяти и я забуду, как ты говорил: «Ты думаешь, недельки через две я смогу принять ванну?» Я разговаривала по телефону. Я благодарила за цветы, которые тебе прислали. Я говорила, что операция прошла благополучно, и вместе с тобой сочиняла ответы на срочные письма, а потом печатала их на машинке, повернувшись к тебе спиной, чтобы дать хоть немного передышки лицу. Я выписывала чеки, деньги уходили... «В марте я вернусь к работе, — сказал ты и добавил: — Я счастлив». Мне показалось, будто меня хлестнули бичом. Что это — удар кинжалом или самая нежная ласка? Я предавала тебя с ясным взглядом, который впервые лгал тебе. Я вела тебя к краю пропасти, а меня поздравляли. Мне было стыдно, но я делала это, потому что вдруг оказалось, что нечто более сильное, более властное, нежели честность, которая раньше была для меня превыше всего, побуждала меня поступать так. Да, через месяц мы поедем отдыхать. Шале с деревянным балкончиком, внизу — заснеженное поле, сзади — лес, сверкающие под солнцем горы. Нет, никогда, никогда больше этого не будет. Десять раз на день я шла сказать тебе правду. Я шепотом повторяла первую фразу, я знала, что ты сразу все поймешь: «Мне нужно сказать тебе...» или: «Нам предстоит разлука», или: «Тебя обманывают». Почему, по какому праву от тебя скрывают то, что больше всего касается тебя, почему тебя надо ложью оберегать от того, что ты смог бы мужественно перенести? Я убеждена, что ты встретил бы эту весть достойно. А ты смотрел на меня: «Ты занимаешься только мною, а я чувствую себя хорошо, у меня ничего не болит». Я молчала, прикорнув у тебя в ногах, твоя рука ласкала меня, и я, замерев, представляла себе, что было бы, если бы я сказала тебе все: тебя до конца не покидала бы мысль о смерти, но мне было бы легче, я могла бы плакать в твоих объятиях, говорить о нашем счастье.

Я рассматривала твой шов. Он забавлял тебя.

— Подумай, мне разрезали живот!

Я ненавидела этот шов, и в то же время он меня завораживал. Там, под моими губами, в двух или трех сантиметрах от них, живет рак, который скоро, очень скоро убьет, одолеет тебя, а ты этого не знаешь. Как ты не раз гадал мои мысли?! Мое лицо лгало столь же ловко, как и твой шов, который заживал так правдоподобно.

— Странное это чувство — сознавать, что ты разрезан.

— Ну конечно, ведь это твоя первая операция.

— Когда я поправлюсь, ты положишь голову мне на грудь?

Я киваю: «Да». Только никогда этого не будет, любимый мой. Или когда ты будешь мертв. Я улыбалась тебе, и именно об этом я думала. Я хотела бы ничего не знать, хотела бы остановить то, что остановить уже невозможно, потому что это сама жизнь, ее движение, Нет, я должна взять все на себя, это мой долг, если уж смерть, уход из жизни — твой удел.

Ты смотрел на меня с усталой улыбкой, едва уловимой, которая угадывается скорее в глазах, чем на губах. Глаза у тебя были больные, с какой-то выцветшей, желто-зеленой, словно сухой

тростник, радужной оболочкой и отливающими перламутром белками. Временами твой взгляд становился отсутствующим. Бедный мой, любимый мой! Наши дни текли, как течет Сена, но для тебя конец пути был совсем близко. Землетрясение, какая-нибудь авария, обрушившаяся крыша — сколько прекрасных возможностей могли привести нас обоих к одной точке, одновременно лишит будущего!

Иногда я подходила к окну, смотрела на дома, на прохожих, на машины, подъезжавшие к тротуару, и всюду мне виделось: «он должен умереть» — и только это.

Я ложилась у тебя в ногах, я улыбалась тебе, улыбалась искренне, потому что я была счастлива — ты рядом, ты со мной. Я пыталась остановить эту минуту, превратить ее в маленький островок в потоке времени, но это не получалось, нет, не получалось. Дорога в завтра была перекрыта, никакой лазейки. Как я ни изощрялась, все мои мысли натывались на одну и ту же стену: тупик, дорога не ведет никуда. Нет, ведет — в пропасть.

Ты каждый раз набрасывался на еду, а у меня кусок застревал в горле.
— Мясо жесткое, — сказал ты как-то за ужином, — оно слишком свежее.
Слишком свежее — значит, животное убито, умерло совсем недавно. Меня замутило.

VI

В Париже редко смотрят на небо. Каждый раз, когда мы покидаем город, небо открывается нам как бы заново. Наблюдая за движением луны и звезд, я всегда испытывала счастье общения со вселенной, частицей которой являемся и мы. Если мы расставались, ты назначал мне свидание на одной из звезд, и мне казалось, что я вижу нить нашей любви, яркую черточку, бархатную стрелу, огненный след, тянувшийся от каждого из нас, чтобы соединиться в созвездии Орион.

Часто, любуясь ночным небом, я особенно ясно и здраво оценивала свои радости и горести, особенно четко осознавала, что такое мир, какое место мы в нем занимаем, что такое одиночество и что такое совершенная любовь, верная, «как солнцу — травы, как луне — приливы, магнит — железу, голубю — голубка иль как земля — закону тяготенья», — как говорил Троиц Крессиде.

Много месяцев после твоей смерти я старалась не смотреть на небо. Я вернулась к нему снова одной летней ночью, а именно двадцать восьмого августа. Я вглядывалась в звезды, ища там одну, и сразу же нашла ее. Она двигалась с запада на восток, одинокая и мудрая. Она была рождена руками и разумом человека и называлась «Эхо II». Она снова связала меня с ночным небом. В тот вечер я долго не уходила домой, поджидая ее возвращения. Мне казалось, я одержала победу. Я стыдилась войны в Алжире, депортаций и фальшивых процессов, я гордилась, что живу в то время, когда человек впервые проник в космос. Но я была здесь одна, в нескольких сотнях метров от того, что осталось от тебя. Ты никогда не узнаешь этого нарождающегося мира. Наша жизнь уже не касалась тебя. И я не могла отогнать от себя мысль, что самой совершенной, самой мирной ракете предпочла бы открытие лекарства, которое спасло бы тебя. Пахло розмарином, лаяли собаки, со стороны дороги до меня доносился шум машин и веселый смех пассажиров. Каждый раз, когда я сталкивалась с чужим счастьем, я еще сильнее чувствовала свое крушение.

Я должна признаться, что впервые отдалась во власть воспоминаний; я призываю их, прошу помочь мне жить, я снова погружаюсь в свои мысли, ворошу прошлое. Иногда я сержусь на тебя за то, что ты умер. Ты покинул, ты оставил меня. Из-за тебя я не могу смотреть на серое небо и ноябрьские дожди, на последние золотые листья и черные, голые деревья, которые раньше были для меня предвестниками весны. Я избегаю рассветов и сумерек, силой

заставляю себя смотреть на солнце и на свет луны. Я была проворной и легкой, теперь я неповоротлива, я тащусь, вместо того чтобы устремляться вперед. Все мне стоит больших усилий.

Я нигде больше не ищу тебя. Но долгое время ты сам внезапно появлялся отовсюду. Как найти тропинку, улицу, набережную, где бы мы не ходили вместе? Нужно бы ло или бежать от них, или оставаться с ними один на один. В толпе людей, на уединенной лесной дороге я видела только тебя. Мой разум восставал против этих миражей, но сердце искало их. Ты был, и тебя не было. И я без конца спрашивала себя: как же это возможно — не то, что я живу, но как может биться мое сердце, если твое остановилось? Я иногда слышала, как говорили, что ты продолжаешь жить среди нас. Я соглашалась. К чему спорить? Но я думала, что некоторым так легче принимать смерть других. Не тешат ли они себя надеждой, что и они не уйдут из жизни бесследно?

Я слишком любила тебя, чтобы примириться с тем, что тело твое исчезнет, но зато душа, мол, будет жить. И потом, как их разделить, чтобы сказать: вот это его тело, а это его душа? Твоя улыбка и твой взгляд, твоя походка и твой голос — что это, материя или дух? И то и другое, они неразделимы.

Иногда я играю в страшную игру: какую часть тебя можно было бы отсечь или изуродовать, чтобы ты не перестал быть тем удивительным человеком, которого я любила? Где граница, по какому признаку я определила бы ее? Когда я смогла бы сказать: я не узнаю тебя больше?

Некоторые говорят мне, что, когда люди слишком хорошо знают друг друга, это убивает любовь, что тайна необходима любви, как зерну — лучи солнца. Но ведь лелеять тайну, пестовать ее — значит признавать ее хрупкость. Нет, тайны не должно быть, ее нужно раскрыть. Но чем глубже мы проникаем в нее, тем больше убеждаемся, что она существует.

Я смотрю, как ты спишь; мир, в котором ты сейчас пребываешь, улыбка в уголках твоих губ, чуть вздрагивающие ресницы, твое обнаженное и беспомощное тело — это и есть тайна.

Я плаваю в теплой и прозрачной воде. Ты где-то рядом, я жду, когда ты появишься в проеме двери, увитой глициниями. Ты говоришь мне «доброе утро», я знаю, что тебе снилось, с какими мыслями ты проснулся, и все-таки ты — тайна.

Мы разговариваем: твой голос, твои мысли, слова, которыми ты пользуешься, чтобы выразить их, для меня самые привычные в мире. Каждый из нас может закончить фразу, начатую другим. И все-таки ты — тайна и оба мы — тайна. В улыбке Джоконды меньше тайны, чем в твоём самом незначительном жесте. Случается — и это бывает в те особые минуты, которые заставляют поверить в совершенство мира, — что нам все ясно друг в друге. Тогда у меня неожиданно появляется желание умереть, лишь бы это совершенство жило вечно. Но нет, кончают счеты с жизнью только под ударами судьбы, а счастье зовет нас жить. Не знаю, но, наверное, достигнув вершины совершенства, мы никогда больше не захотели бы спуститься на грешную землю. Раз мы были богами, мы не желаем снова быть смертными.

Что такое любовь? Это источник, начало источника, это когда мир становится богатым, это восхищение, это чувство, будто ты впервые встретился с чудом и в то же время уже знаком с ним, это возвращение в потерянный рай, примирение тела с духом, ощущение нашей силы и нашей хрупкости, привязанность к жизни и отсутствие страха перед смертью, уверенность, непоколебимая и вместе с тем неустойчивая, преходящая, которую каж дый день нужно завоевывать заново.

Ты был самым прекрасным, что связывало меня с жизнью. Ты познакомил меня со смертью. Когда она придет за мной, у меня не будет надежды встретиться там с то бой, но мне будет казаться, что я иду знакомой дорогой — ведь по ней уже прошел ты.

VII

Я снова смотрю на небо, я люблю на него смотреть. На нем ни малюсенькой голубой полосочки. Грязные, мрачные тучи тянутся между крышами, как разгромленная армия.

Сегодня солнце, как и счастье, спрятано, но оно существует. Я ищу лазурное небо, золотой век. Я должна вновь найти истоки радости. Вновь обрести ясность, выбраться из мрака, но сохранить твой образ в своем сердце. Я пытаюсь вернуть душевное равновесие и порою мне это удается, но потом оно ускользает. Я продолжаю упорствовать, сама не зная зачем. Не есть ли это извечный закон мира: или приспособляйся, или погибнешь.

Сдаться, опустить руки было бы малодушием. Я молю только о спасении. Я ищу его и этим утром, проходя по Люксембургскому саду, как когда-то давно, когда я шла через пустыню. Тогда я могла не про гонять воспоминаний. Где-то, за тысячи километров, был ты. Ни твое отсутствие, ни расстояние не смущали меня. Мы были двумя голосами фуги, и ничто не могло помешать этому. В ней звучали ты, я, и то самое мы, которое не было ты плюс я, оно еще только рождалось, но потом оно перерастет и поглотит нас обоих.

Ни один пейзаж не даст такой свободы воображению, как пустыня. Дерево на обочине дороги, птичья пара в небе говорят о жизни больше, чем самая цветущая долина. Я разговаривала с тобой, или мы молча ехали верхом. Когда мои грезы рассеивались и ты исчезал, я не испытывала никакой грусти. Ты есть, мы уже встретились друг с другом, какое значение имеет все остальное? Мы еще не вместе, все впереди.

Я вершила свою судьбу и сама подчинялась ей. Я верила в свою силу и была выше чувств. Я считала себя ясной и разумной, готовой к любым случайностям. Была убеждена, что я вне этого круга — «счастье-несчастье». Я не знала, что именно счастье давало мне эту уверенность. Я вдыхала его так же естественно, как воздух.

VIII

Санитар пришел за ним. Он переложил его с кровати на каталку. Мы посмотрели друг на друга. Мне не разрешили сопровождать его. Я осталась стоять на пороге. Санитар заслонял его от меня. Я слышала шаги санитара, слышала, как шуршала колесами каталка, и мне казалось, что никогда они не достигнут конца этого длинного и сверкающего чистотой коридора.

Пожалуй, именно тогда я рассталась с тобой навеки. Минуты, когда я смотрела на тебя, укутанного одеялом, были последними минутами моего счастья. Меньше чем через час я снова увидела тебя. Ты спал, твои волосы растрепались, лицо было бледно. Чем определяется время? Боем часов на башне, оповещающим, что прошел еще час, или теми событиями, которые этот час вместил в себя? Мир перевернулся. Тысячи лет отделяли тебя, лежащего сейчас передо мною, от тебя, каким ты был час назад. Ты спал, и все равно я не осмеливалась смотреть на тебя и лишь украдкой бросала быстрые взгляды. Я сидела рядом оцепеневшая, сестры и врачи сновали мимо меня, они были заняты своим делом, а я желала твоей смерти. Пусть она будет быстрой, как молния или как вор. Не ужели это тоже любовь? Быть готовой пожертвовать всем ради твоей жизни, а час спустя желать тебе смерти? Я ведь только сейчас умоляла врачей, чтобы они не дали тебе проснуться. Где же тогда добро и где зло?

Ночь тянулась бесконечно. Я лежала на кровати, устремив взгляд в потолок. Туда я отбрасывала свою неотступную мысль.

Он умрет. Он умрет.

Я так отчаянно боролась с этой мыслью, что у меня все болело, я отшвыривала ее, она меня сокрушала, душила, повергала. Я смирялась с нею, я вбивала ее себе в голову и в тело, и с нею погружалась в недра земли. Да, он умрет. Он истлеет. Вот что нужно знать, вот что нужно понять. Может, мне станет легче, если я отвернусь? Стена белая, на ней еще ничего не написано. Чистая страница. Я хотела бы страницу чистую, как вчера. Хотела бы вернуть сутки назад. Я мысленно начинала все сначала. Тебе предстоит операция. Мы в комнате одни. За окном неторопливо бродит садовник. Мы лежим рядом на твоей кровати. Правой рукой ты держишь мою левую руку. Мы разъединяем их только тогда, когда нужно перевернуть страницы наших книг. Как спокойно! Иногда ты дремлешь, склонив ко мне голову. Бьет три, нам остается два часа.

— Ты не приходи ко мне, когда я буду спать после наркоза, я не хочу, в это время люди выглядят такими некрасивыми! Не придешь? Обещай мне!

— Нет, я буду рядом с тобой, но ты не будешь некрасивым. Я же смотрю на тебя, когда ты спишь.

— Это другое дело.

— Хорошо, я обещаю тебе.

Пришел санитар и увез тебя. Я привела в порядок комнату. Открыла настежь окно. Небо было низкое и тяжелое, как грифельная доска. Я прошла в зал ожидания. Меня позвали. Вместе с медицинской сестрой я поднялась в лифте. Сестра открыла дверь и ввела меня в маленькую комнатку, где я увидела лишь несколько стульев. Я услышала шаги, вошли четыре врача. Один из них придвинул мне стул. Они молчали. Я посмотрела на них. Который из них заговорил? Который посмотрел мне прямо в глаза? Бывают минуты, когда нужно предотвратить судьбу, остановить время. Больше нет белых стен. В каждой закоулке, на облупившейся краске, на лампе, на полоске света, которая просачивалась через верхнюю щель двери, повсюду было написано: «Он умрет».

Ты был рядом со мною, но уже в недоступном мне мире. Ты спал. Отныне ты стал приговоренным, а я — сообщница палача. Мне рассказывали, что на бойнях есть животные, которые сопровождают своих сородичей до места казни. Их ее убивают. Мне предстоит то же самое?

До утра я могла предаваться отчаянию, яростно спорить сама с собою, колебаться. Но рассвет приближался. Я должна была предстать перед тобою со спокойным лицом. Я всегда знала, что важные решения принимаются в несколько секунд. Мне нужно было выбрать: или ты будешь счастлив, или твое счастье разом оборвется. И я решила: сделать все, что в моих силах, чтобы никакое страдание, никакой страх не терзали тебя. Больше я ничего не могла. Я хотела, чтобы ты не утратил то ощущение радости, которое мы познали. Потом я буду думать, правильно ли поступила. Я не металась между чувством и разумом. Несчастье вошло в мою жизнь. Все события, все переживания проходили сквозь него. Оно изменило меня. Возможно, придет время, когда я снова смогу, как прежде, думать, что счастье и несчастье в жизни всегда идут рядом и нужно быть готовым к встрече с ними. Не в этом ли состоит мудрость?

Он проспал всю ночь и все утро. Временами ненадолго приходил в сознание. Он смотрел на меня, хотя я не знаю, видел ли, и снова впадал в забытие.

Твой первый взгляд. Он всплывал из какого-то иного мира, откуда хотел убежать, и цеплялся за мой взгляд. Мое предательство началось: «Все хорошо».

Ты улыбнулся, сомкнул ресницы и коснулся моей руки. С этой минуты, вопреки моему ожиданию, мне было хорошо только рядом с тобой. Мрак сгустился вокруг нас, но то, что ты был со мной, внешне не изменившийся, ничего не знающий, успокаивало меня. Сам того не подозревая, ты помогал мне — твоё счастье заставляло меня притворяться. Я не могла ни на секунду забыть, закрыть на все глаза. Я жила двойной жизнью. Мне говорили, что очень большое горе порождает бесчувственность. Это не правда, никогда еще я не принимала так близко к сердцу все, с чем мне приходилось сталкиваться.

В тот вечер я пошла домой. Меня встретил детский смех. Эти невинные создания ожидают удар. И тут я тоже бессильна. Круглый стол, за которым пусто твое место. Наша постель. Ты умрешь на ней? Впрочем, не все ли равно, где? Чудовищно то, что ты должен умереть. Я останусь одна, об этом я еще не подумала. Одиночество: ты не видишь никого и тебя никто не видит. Я вернулась в клинику. Ты ждал меня. Ты еще жил, и завтра, быть может, тоже будешь жить, и наш первый взгляд будет предназначен только друг другу. Страшное слово пришло мне на ум: «пользоваться». Я слышала, как оно прозвучало в первый раз. Пользоваться последними солнечными лучами, пользоваться тем, что нам еще осталось. Какое это безобразное слово — алчное и скупое.

Я дождалась, пока ты уснешь, а потом — в первый раз — как подкошенная рухнула и провалилась в сон.

На другой день я проснулась очень рано. Я прислушалась к твоему дыханию. Наступит день, когда я не услышу его. Я не хотела, чтобы меня затянула трясина. Он умрет, он умрет, твердила я себе, завтра или через две недели, он обречен, нужно отдавать себе в этом отчет. Не тешить себя надеждой. Знать. Потом забыть, что знаешь, и жить, как обычно. Не останавливаться — вставать, принимать душ, чистить зубы, отправлять детей в школу.

Когда ты проснулся, все стало гораздо проще: мы бы ли вдвоем. Я не хотела думать, надолго ли. Секунды казались мне часами, дни — секундами. Наша жизнь — что она для вечности? Мгновенье. Одно мгновенье. Все человеческие жизни, начиная с пещерного предка, скованные в единую цепь, создали историю человечества. Ты скоро умрешь, я умру немного позже. Мы станем одним звеном цепи.

IX

На пятый день после операции, утром, вошел санитар и предложил тебе походить. Ты с трудом поднялся, я надела тебе твои домашние туфли. Ты казался невероятно высоким, пижама висела на тебе, как на вешалке. Санитар поддерживал тебя с одного бока, я — с другого. Знал ли он что-нибудь? Знал ли он, что я все знаю? Я не хотела в сообщники никого.

Сначала мы подошли к окну, чтобы взглянуть на сад.

— Как будет хорошо, когда мы вернемся в деревню, — сказал ты.

Я уговаривала тебя снова лечь, потому что догадывалась, что ты собираешься сделать, и так оно и случилось. Ты пошел в ванную, к зеркалу. Много я отдала бы за то, чтобы свет тебя обманул! Ты пристально посмотрел на себя, привычным жестом поправил волосы. Голова чуть наклонена вперед, взгляд внимательный. Я опередила тебя:

— Нельзя сказать, что ты выглядишь хорошо.

— Да, нельзя.

— Это потому, что ты стоишь. Когда ты ляжешь, я дам тебе свое зеркальце, и ты увидишь,

что в постели у тебя румянец.

Это была правда. Когда ты лежал, кровь прилиwała к твоему лицу и ты выглядел неплохо, только глаза, очень тусклые, беспокоили меня.

Ты снова лег.

Я смотрела на тебя, как пятнадцать лет назад, когда наша любовь только рождалась и мы узнавали друг друга. Да, это был взгляд первооткрывателя, мне казалось, будто я вижу тебя впервые в жизни. Наши жесты, самые простые, самые обычные и в то же время самые интимные и прекрасные, — все всколыхнулось в моей памяти, уже окрашенное этим «никогда больше». Я знала, что уже принадлежит прошлому. Никогда больше ты не подкинешь в огонь полено и не посадишь на плечи детей. Правда, я еще могла видеть, как ты переворачиваешь страницы книги, касаешься моей руки, пишешь письмо. Однако почти все твои движения уже выдавали болезнь, на них лежала ее печать: ты ходил медленно, немного наклонившись вперед, брился в два или три приема, садился в постели осторожно, опираясь на руки.

О любовь моя! Неужели смерть уже так близка, что незаметно для тебя наложила свой отпечаток на каждое твоё движение? Нет, конечно же, нет, это мне так кажется, потому что я все знаю. Вечером я смотрела, как ты спишь: твоё лицо было неподвижно, но я видела, как у тебя на шее пульсирует жилка. А потом оно будет такое же? Сегодня ты еще живешь. Этот день выигран. Как она придет, смерть? По каким признакам узнаю я, что она приближается? Я старалась уловить их, но ведь я впервые в жизни сталкивалась со смертью. Замечу ли я её приближение? Ты был моим сфинксом, но ты даже не подозревал, какую загадку загадал мне. Ты не догадывался об этом, но я пыталась получить ответ у тебя. Я с изумлением смотрела, как ты ешь, и не могла понять, было ли это мужеством, я хочу сказать, заставлял ли ты себя есть, что бы скорее поправиться, боясь слабости, которую ты, возможно, чувствовал, или твоя молодость даже на пороге смерти превращала тебя в молодого голодного волка.

Я не знала, выйдешь ли ты из клиники живым. Часто, глядя на белые стены, которые я ненавидела, я думала: неужели именно здесь нас настигнет твоя смерть? Нет, тебе становилось лучше, и однажды утром нам объявили, что мы можем вернуться домой.

Я уложила чемодан. Погода была дивная, и мы постояли несколько минут у окна. Я не из тех женщин, у кого глаза на мокром месте. Комната снова стала безликой, какой она была в тот день, когда мы приехали сюда, и только отцветающая роза доживала свой век в стаканчике для полоскания зубов. Следующий больной мог войти. Да, это была роковая для нас комната... Мне хотелось, чтобы ты поспал перед отъездом, но ты был полон планов, ты попросил меня снова рассказать тебе о доме в горах, в котором мы скоро поселимся.

Он будет стоять на лесной опушке, фасадом к восходящему солнцу. Ты не сможешь ходить на лыжах, но мы возьмем напрокат сани и завернемся в меховой полог, от которого немного пахнет лошадьё. Мы будем гулять под заснеженными деревьями и приручим голубых белок. Мы будем завтракать, обедать и ужинать на деревянном балкончике и вечерами наблюдать, как закат озаряет вечернее небо и одновременно зажигаются огни в деревне. Ты будешь есть по шесть раз в день и принимать солнечные ванны.

Ты сел на кровати, и я помогла тебе одеться. Ты надел тот же костюм, в котором был, когда мы приехали сюда. Брюки спадали на бедра, а между твоей шеей и воротником рубашки я могла просунуть три пальца.

Я смотрела, как ты идешь по коридору. Ты вышел на крыльцо и остановился там на минуту. Глубоко вздохнул и сощурил глаза под яркими лучами солнца. Я подумала, что так выходит

на арену бык. В машине нас было четверо. Ты сидел впереди, я — сзади. Сбоку я видела твой профиль. Как был прекрасен Париж — дерзкий и ласковый. Я пыталась смотреть на все твоими глазами и понять твою усталую радость, но мой взгляд притягивала только твоя шея — заросшая волосами и тонкая, как молодая березка. Она была такая же, когда тебе было двадцать лет. Тогда, если ты бывал недоволен собой, ты уходил вперед один и стегал высокую траву веткой, подобранной на краю тропинки. Потом вдруг возвращался ко мне, обнимал меня за плечи, и мы начинали хохотать. Но не дай бог, если бы я засмеялась хоть на минуту раньше, — ты закрылся бы, как ракушка. Теперь все это далеко, мы на другом конце пути.

Ты положил руку на спинку сиденья и пошевелил кистью, чтобы я погладила ее. Какой ты был худой и бледный! Париж. Париж! Куда идут люди? Почему они все так спешат? Я наблюдала за неистовой пляской пешеходов и машин, как они, не теряя ни секунды, движутся вперед в такт красному и зеленому сигналам светофора. Никакого воображения. Главное — быть дисциплинированным, вот и все. Этот пешеход, может быть, вечером умрет, или в нем гнездится какая-нибудь болезнь, о которой он не подозревает. Что за важность! Смерть всегда стоит у наших дверей. Главное — не думать о ней. Забыть. Смотреть, как течет Сена и солнце играет на мостах, стоять там, созерцать и не думать, не думать ни о счастье, ни о несчастье, ни о прошлом, ни о будущем. Жить только минутой.

Это была наша последняя поездка, твой прощальный визит тем местам, которые мы любили. Никогда больше мы не пройдем по Парижу вместе, никогда не испытаем того чувства, что здесь мы у себя дома, чувства, которое мы часто испытывали, пересекая улицу Бак или площадь Сен-Мишель, где мы проехали в тот вечер. Мне вспомнилось множество солнечных утр, когда мы шли тем же путем, только в обратном направлении. Мы выходили с улицы Бонапарта к Сене и каждый раз с тем же восхищением и гордостью любовались ее прекрасными набережными. Какого цвета здесь небо? Голубое, белое, серое, золотистое? В нем были все цвета понемногу, да еще мягкая дымка, атласное сияние которой придавало этому каменному пейзажу, аркам моста и изгибам реки изящество, вызывавшее чувство преклонения перед разумом и талантом человека.

Мы проходили по набережным до Трокадеро и иногда, если никуда не спешили, останавливались полюбоваться открывавшимся оттуда великолепным видом, правда ненадолго, потому что так уж устроена жизнь, что по Парижу ходят для того, чтобы перебраться из одного места в другое, а не бродят просто так, глаза по сторонам, засунув руки в карманы. Каждый год мы клялись друг другу, что будем выкраивать для этих прогулок время, которое так несправедливо называют потерянным, но парижская жизнь затягивала нас в свой круговорот, и длительные прогулки пешком становились событием чуть ли не более редким, чем дальние путешествия. Этот нечеловеческий ритм города иногда разлучал нас на много дней. Мы не виделись, не имели времени поговорить. Уходили, приходили, разговаривали по телефону, спали. На какое-то время связь прерывалась, мы жили неполной жизнью, но знали, что наступит воскресенье, мы будем вместе и тогда расскажем друг другу все, что принесла нам эта бесконечная неделя, что мы думали о себе, что слышали, что заметили друг у друга, хотя, казалось, были так поглощены своими делами, что не обращали друг на друга внимания. Мне нравилось, когда ты хвалил мой новый джемпер, о котором ты не промолвил ни слова в то утро, когда я надела его впервые, так же как тебе было приятно, если я говорила, что японский галстук гораздо больше подходит к белой рубашке, чем к серой. Все, что накопилось в нас за неделю, выплескивалось наружу, и мы смеялись над песенкой Жюльетты Греко «Я ненавижу воскресенье».

Мы обретали друг друга после гонки. Эти встречи обогащали нас. Больше их не будет. Тебе предстоит единственная встреча — я хорошо это знала, — встреча со смертью. Я выискивала

признаки ее приближения на твоём лице — у тебя немного запали щеки или ты морщился от боли — и говорила себе: вот она, а если ты чувствовал себя хорошо и у тебя было прекрасное настроение, думала, что это, может быть, то самое улучшение, которое, как я слышала, наступает перед смертью. Поскольку я ничем не могла помочь тебе, мне оставалось заставить себя не думать. Оставаться с тобой до последнего твоего дыхания... Ты был со мной в машине, я чувствовала тепло твоего тела. Через месяц я, наверное, отдала бы все на свете за эти минуты, которые тогда казались мне адом.

Ты захотел подняться по лестнице сам. Я шла следом.

Я знала, ты поднимаешься домой в последний раз. Обычно ты перескакивал через ступеньки, бесшумно, как пантера, и тишина, которая следовала вечером за стуком двери подъезда, возвещала мне о твоём возвращении. Секунду спустя ключ поворачивался в замочной скважине нашей двери.

В тот день я шла сзади, готовая поддержать тебя, если ты обессилеешь. Я молила только, чтобы никто из соседей не встретился нам за то бесконечное время, пока ты одолевал лестницу.

Х

Я вспоминаю, как мы подстерегали первые движения наших детей. Я носила тогда в себе зародыш жизни, как ты теперь несешь в себе зародыш смерти.

Зимний рассвет. Я спала между тобой и нашим ребенком. Какое блаженство тела и разума! Я была устойчивым пузырьком в мире, внешне неподвижным не из-за инертности, а потому, что взаимодействие сил, центром которых, казалось мне, в эту минуту я являлась, было совершенно. Все гармонично. Несчастье и смерть — это что-то далекое, приглушенное, и если даже придет день и они постигнут нас, то все равно никогда не смогут нарушить гармонию этого дня.

Вскоре на земле стало одним дыханием больше.

Я приоткрывала глаза — убедиться, что не сплю. В этом тельце, в этих мягких линиях, которые уже очаровывали меня, все было предрешено. В наших силах помочь или помешать развитию этого нового человека, сделать так, чтобы он как можно скорее стал сознательным, не больше. Но жизнь — не ровная дорожка, борьба неизбежна. Какой он — из числа тех, кто закаляется в трудностях, или из тех, кто оказывается побежденным еще до борьбы? И это тоже предопределено судьбой? Сегодня я знаю, что бессильна перед взглядом ребенка, подавленного тоской, и перед взглядом другого, в котором только доверие и который не догадывается об обмане.

Я возвращаюсь в свое детство и вспоминаю, как стремилась к счастью, вспоминаю предчувствие, что мне предстоит счастливая жизнь и я в какой-то мере ответственна за свое счастье. Вспоминаю долгое, мрачное и холодное время, когда замкнутая, лишенная детской непосредственности, я постоянно была грустна и стыдилась своей грусти; я хотела исцелиться от нее, как от болезни, и радость, которая иногда выпадала на мою долю, казалась мне справедливой и прекрасной. Позднее я поняла, что наша судьба в значительной мере зависит от того, как мы представляем себе счастье, ведь счастье — это не только духовное и физическое благополучие.

И сейчас еще, несмотря ни на что, я хотела бы снова обрести счастье. Оно представляется мне как верность себе самой, а значит, и тебе, я призываю чудо: однажды проснуться счастливой,

без ощущения тяжести на душе. Я знаю, земля содрогнулась, на ее теле образовалась рана, она нанесена на карту моей новой географии, я смирилась с ней, но я хочу, чтобы она перестала кровоточить.

Мне еще трудно жить настоящим, я редко захожу в него без усилия. Когда мы говорили о смерти, мы думали, что самое ужасное — пережить близкого человека: теперь я не уверена, что это так, я пытаюсь найти истину и каждый день прихожу к иному выводу. Когда весенний воздух хватается меня за горло, когда я вижу наших детей, каждый раз, когда я сталкиваюсь с красотой жизни и, забыв о тебе, наслаждаюсь ею несколько секунд — потому что ты не оставляешь меня надолго, — я думаю, что из нас двоих жертва — ты. Но когда горе захлестывает меня, я, жалкая и подавленная им, думаю, что мы были правы, что умереть — это совсем не самое страшное. Я беспрестанно противоречу себе. Я и хочу и не хочу больше страдать из-за того, что ты ушел. Когда горе становится совсем нечеловеческим, когда оно кажется мне безысходным, я жажду успокоения, но как только ты даешь мне короткую передышку, я боюсь утратить связь с тобой, боюсь, что ради зыбкой безмятежности и любви к жизни, которая завладевает мною помимо моей воли, из памяти ускользнут наши последние дни и последние взгляды. И так вот без отдыха, без остановки я колеблюсь от одной точки к другой, а потом обретаю неустойчивое равновесие.

Так будет долго. Я готова к этому. Но иногда я чувствую огромную усталость, меня охватывает страшное искушение — сдаться, сложить оружие. В такие минуты я люблю землю, и возможность успокоиться в ней уснуть как сурок или застыть как статуя — не пугает меня. Тогда я забываю о тлении, хотя мысль о нем иногда неотступно преследует меня — оно представляется мне естественным распадом ткани, в котором нет ничего страшного.

На следующий день после возвращения из клиники ты проснулся поздно. Ты сказал мне: «До чего же я устал!» Я ответила, что это вполне понятно, подниматься по лестнице было слишком тяжело, и теперь тебе следует побольше отдыхать. Мы лежали на постели не двигаясь и лишь изредка перебрасывались словами. Каждый был погружен в свои мысли. Мне казалось, что они витают над нашими головами, как завитки дыма, — поднявшись вверх, слегка касаются друг друга, но не смешиваются, оставаясь каждая сама по себе.

Мы слушали твое любимое анданте. Только музыка может так волновать, умиротворять и наполнять душу тоской, тревожить и успокаивать. Она помогла мне в тот день взять себя в руки. Она вернула ударам моего сердца ритмичность, которую нарушила твоя коротенькая фраза: «До чего же я устал».

Только не терять самообладания, это еще не та усталость, о которой сказал врач, это просто из-за лестницы; скоро у тебя появится румянец, ты попросишь есть, может быть, посидишь на кровати. Еще один день будет отвоеван у вечности. Но нельзя строить столь далекие планы, надо думать о том, что будет после обеда, не углубляясь дальше, не требуя большего, или, наоборот, смотреть на мир с огромной высоты, как эта музыка, которую я слушала и которая говорила мне, что все в мире находится в непрерывном движении, все изменяется и что нежность или любовь не должны уходить со смертью. Однако стоило мне хоть немного успокоить себя, как все мое существо восставало против этого. Так было бы слишком легко. Я здесь, здоровая, сильная, я увижу лето, увижу, как будут расти наши дети. Какой предстану я перед лицом смерти? По правде сказать, в тот единственный раз, когда моя жизнь была в опасности, мне не показалось это ужасным, но тогда опасность мне только грозила, я не была обречена, значит, я просто играла с огнем, временами мне было жутко, но и только, не больше. Но что легче — смириться с мыслью, что ты сам умрешь, или с мыслью, что умрет дорогой тебе человек? Не знаю. То, что происходило на этот раз, нельзя было сравнить

ни с чем. Если бы я узнала, что у тебя есть хоть один-единственный шанс спастись, мы говорили бы о нем с тобой, мы испробовали бы невозможное и, кто знает, — вдруг вы играли бы? «Никакой надежды», — сказали врачи, и я поняла, что это так. Достаточно было заглянуть в студенческий учебник по медицине, чтобы убедиться в этом. А если бы врачи скрыли правду и от меня, если бы, как и ты, я ничего не знала? Нет, они поступили правильно. Между неведением и самой горькой правдой я всегда выберу последнее. Конечно, это было нелогично. Я отстаивала свое право знать правду, а тебя лишала его. Я уничтожала наше равенство, приняв роль покровительницы. Да, я хотела видеть тебя счастливым, твое счастье было для меня превыше всего, и когда ты говорил мне: «Я счастлив», все недомолвки, вся ложь становились для меня сладкими как мед, я заставила бы лгать весь мир ради улыбки, которую ты подарил мне тогда, той мимолетной улыбки, которую мне хотелось схватить рукой, прижать к груди, которая и поныне со мной.

Я знала, если бы тебе предоставили выбор между твоей прекрасной, но короткой жизнью и жизнью долгой, но заурадной, ты не колебался бы. Но почему такой выбор? Наверное, все люди делятся на две категории, и ты принадлежишь к тем, кто проходит жизнь стремительно, как падающая звезда в летнем небе?

XI

«Полет Икара» Брейгеля, полный солнца, есть само выражение одиночества, но рожденного не эгоизмом, а безразличием, которое разъединяет людей. Он, конечно, прав, этот пахарь, что все равно ведет свою борозду, в то время как Икар гибнет. Нужно, чтобы жизнь продолжалась, чтобы зерно было посеяно или собрано, несмотря на то, что над кем-то нависла смерть. И все-таки хочется, чтобы он бросил свой плуг и побежал на помощь ближнему. Или нет, я, наверное, ошибаюсь, он, конечно, не знает, что человек в беде. Он пребывает в таком же неведении, как море и небо, холмы и скалы. Икар умирает не потому, что его покинули, а потому, что люди не ведают о том, что он гибнет. Каждый из нас напоминает этого пахаря. Всякий раз, выйдя из дома, мы проходим мимо людского отчаяния или страдания, о которых даже не подозреваем. Мы не замечаем ни умоляющих взглядов, ни боли души или тела. Я далека от своего ближнего. Если бы я и вправду была близка к нему, я всегда непременно бросалась бы на помощь, забыв о своих делах.

Мы стали Икаром. Там, за окнами, все текло своим чередом. Я отдергивала штору и наблюдала за привычной жизнью нашей улицы и нашего двора, но она виделась мне уже в ином свете. Все изменилось, все воспринималось не так, как раньше. Голоса на улице удивляли меня, будто я впервые слышала их, смех доносился до меня словно из другого мира, и скрежет мусорных ящиков, которые каждое утро волочили по тротуару, казался мне приготовлением к казни. Осужденный на смерть каждый день на рассвете слушает, не воздвигают ли гильотину. Но ты под утро крепко спал, а я, проснувшись, переживала час моей самой большой слабости. Отчаяние от того, что есть, отчаяние от того, что будет. Я не могла ни задремать, ни решиться покинуть нашу постель. Единственной моей отрадой были твои волосы, которые я различала на белой подушке, и твое тело, которое — я знала — было рядом. Я чувствовала твое тепло. Я чувствовала его и в утро твоей смерти. Ты спокойно спал, а болезнь в это время готовилась к последней атаке. Когда я закрыла дверь нашей спальни, я не подозревала, что только что видела тебя в последний раз. Около полудня о тебе уже будут говорить в прошедшем времени. Он любил, он хотел, он работал, он опасался. Прошедшее время — время смерти. Я не знала, кто — врачи ли, съехавшиеся ли друзья или я сама употребила его впервые. Возможно, я. Каждый раз, когда я слышу, как дети повторяют глагол «быть» во всех временах, я думаю о том роковом утре, которое окончательно провело для меня границу между прошлым и настоящим. Он был — это значит, что его никогда больше не будет. Все кончено. Точка. Вы можете биться головой о стену, вопить, окаменеть,

держаться так, как если бы ничего не произошло, рвать на себе волосы, умолять, возмущаться, соглашаться — вы не измените ничего: он был, то есть его больше нет. Теперь весь мир и вы сами имеете право и даже обязаны говорить о нем в прошедшем времени. Вы только сейчас начали употреблять это время рядом с его именем, но отныне оно будет для него единственным.

Больше нет надобности говорить шепотом, чтобы не потревожить твой сон. Начиналась жизнь без тебя. Я была одна. Пожалуй, я не знала еще, насколько это непереносимо — не быть одной, нет, а не быть больше с тобой. С тех пор как я увидела тебя спящим на каталке в клинике, всеми моими поступками руководила одна-единственная мысль: только бы он не страдал, только бы он ничего не узнал. Моя миссия окончена, я выполнила ее без славы. Ты, у которого ясность была одним из самых лучших качеств, предстал перед смертью, как ребенок.

Ты был прекрасен. Ты излучал свое последнее сияние; завтра ты уже будешь иным. Да, я знала, что тебя уже нет в этом теле, но какая-то сила влекла меня к нему. Я еще могла смотреть на тебя, держать твою руку или гладить твое лицо. Завтра нельзя будет даже этого. Завтра ты будешь в гробу. Спрятанный навеки. Я думала: совсем один. Через два дня я буду ехать позади тебя, а через три дня мы расстанемся навсегда. И двадцати дней не прошло с тех пор, как мы были счастливы, и вот все кончено.

Я повторяла себе: он умер, он умер, ты умер. Мне нужно было самой немедленно произнести эти слова, чтобы проникнуться ими навечно, чтобы не оставлять лазейки для бегства, иначе мне захотелось бы отвернуться, отрицать, а отрицание лишь завело бы меня в тупик. Тысячи игл впивались в меня изнутри, я была сплошным криком.

Я хотела, чтобы мое тело не изменило мне, чтобы оно пришло мне на помощь. Я цеплялась за край пропасти. Я заставляла себя смотреть в пустоту. У смерти было твое лицо, и поэтому я смотрела на нее пристально, чуть ли не любовалась ею. Трудно себе представить прощание с покойным, если ты сам не пережил его, ничто не поможет постичь это. Мысль останавливается, когда достигает границы ужаса: вот, здесь все начинается.

Сегодня я еще не могу расплести наши жизни. Но не плющ и дерево приходят мне на ум, когда я пытаюсь осознать твою смерть; она подобна первородному греху, вселенской катастрофе, которая нарушила законы всемирного тяготения. Я тщетно пытаюсь найти уголок, где чувствовала бы себя на месте.

Я смирилась с тем, что тебя нет. Я не просыпаюсь больше оттого, что каждое утро какой-то буравчик сверлит мой мозг или пронзительная сирена врывается в мой сон, чтобы снова и снова объявить мне, что ты умер. Я опять начала думать о погоде, о книге, которую прочла, о делах, которые надо сделать сегодня. Много месяцев я представляла себе, что как только я смогу говорить с интересом о чем-нибудь другом, кроме тебя, думать о чем-нибудь другом, а не о тебе, я буду почти спасена.

Может, это уже случилось? Не знаю. Прошлое не отпускает меня, я отчитываюсь перед ним за все. А жизнь призывает меня к себе. Я знаю это, хочу этого, но я как-то особенно ясно ощущаю серость дней, то усилие, которое мне надо сделать, чтобы снова вернуться к жизни вопреки сердцу, жаждущему одиночества. И я постоянно во власти какого-то безумия. Выходя вечером, я оставляю лампу зажженной. Когда я возвращаюсь, я вижу ее свет за занавеской и улыбаюсь своей хитрости, наивной, потому что, как только я открываю дверь, я лицом к лицу сталкиваюсь с одиночеством. Я открываю и закрываю стенные шкафы, переставляю флаконы, поворачиваю краны, но не слышу ничего, кроме тишины твоего отсутствия. Я слушаю ее, она не пугает меня, она меня завораживает. Мне не хочется

нарушать ее. Придет сон, он приходил ко мне уже сотни ночей, когда я слушала твое отсутствие.

Бывают дни, когда ты ускользаешь от меня. Неужели были счастье и красота? И мы их впитывали в себя ежечасно? В такие дни я не могу ни на чем сосредоточиться, мысль перескакивает прошлое, старается обойти подводные камни, становится бесплотной. Тогда у меня остается только мечта и пепел; то, что было, ускользает, и я вижу, откуда берут начало эта пресловутая идеализация, эти приукрашенные воспоминания, которые постепенно упрощают и подменяют истину, эта измена, которая дается тем более легко, что тебя нет и некому оспорить сладкий образ, который создает воображение. Я достигаю ложного спокойствия, но удаляюсь от истинной мудрости, которая заключается в горении, способности мыслить, ясности ума. Я призываю твой образ и кидаюсь в прошлое, чтобы не потерять тебя. Одна в нашей спальне, я подолгу не могу оторвать взгляда от твоих любимых уголков, от вещей, которыми ты дорожил, я ищу твой след, вытягиваю тебя из мрака, и постепенно ты возвращаешься. Отправной точкой мне служит всегда одно воспоминание: яркое пятно на стене ... Как-то утром, за три дня до твоей смерти, появилось солнце, а до этого несколько дней лил дождь. Я отдернула шторы, и ты сказал: «Приятно чувствовать солнце на лице». Я немного сдвинула кровать, чтобы лучи падали на тебя. Ты на миг закрыл глаза, а когда открыл их, прошептал: «Как хорошо».

Время тянулось медленно. Я принесла тебе чистое белье, ты выбрал голубую пижаму, ту самую, в которой ты умрешь. Солнце уже играло на стене, оно покинуло тебя. Навсегда. Назавтра снова лил дождь, на следующий день — тоже, а на третий день утром тебя не стало. Я никогда не забуду цвет этого ноябрьского солнца, не забуду, как оно ласкало твоё лицо и волосы, а потом перебралось на стену, как дезертир. Даже солнце предало тебя. Ты остался на поле боя один.

Погода в Эскале в наше последнее лето была чудесная. Какие планы строили мы тогда? О чем мечтали?

Мы вели беззаботную жизнь. Мы подчинялись ветру и солнцу. Они определяли распорядок нашего дня. Каж дый день — одно и то же, ничего не случалось. Мы были просто счастливы, счастливы оттого, что ощущали это. Счастье пропитывало нас как аромат, которого мы иногда не замечали — настолько были счастливые. Разве птица сознает, что она счастлива, когда летает?

Мы часами лежали с закрытыми или полузакрытыми глазами, слушая едва уловимый шум моря, удары сердца — и все. Когда нам становилось жарко, мы бежали в воду, пропустив волну, без шума, чтобы не нарушить безупречную гармонию неба и моря.

Мы могли не говорить ни о чем или болтать обо всем.

Молчание и болтовня прекрасны, когда они означают высшее проявление любви или дружбы, а не прикрывают недовольство или непримиримые разногласия, когда они порождены общностью настолько глубокой, что два существа, внешне непохожие, достигают сходства более удивительного, чем сходство черт лица.

Иногда я замечала, что ты плохо выглядишь, меня охватывала смутная тревога, потом это проходило. В самую жару ты шел расчищать ложбину, где растут приморские сосны, а я поднималась вздремнуть после обеда в большой комнате, закрыв там ставни. Дети спали. В доме царила необыкновенная тишина. Стрекот кузнечиков был не в счет. Я слушала удары твоей кирпичи, которые сливались для меня с жарой, запахом моря и цветов в нечто единое, потом слушала, как хрустит под твоими ногами валежник. Ты часами рубил кустарник,

который мы сжигали после первого дождя, потом возвращался, весь в поту, с запутавшимися в волосах и одежде веточками, с исцарапанными руками и ногами, светящийся радостью. Иногда ты работал на тракторе — я ненавидела запах бензина и адский грохот, — уезжал далеко на большой холм, где прокладывал дорогу в непроходимой чаще, зараставшей кустарником почти двадцать лет.

После полудня, когда солнце оставляло наш дом, но холм еще был залит его лучами, мы ходили прогуляться в те места, что ты открыл несколько часов назад. Мы приносили оттуда сосновые шишки, иногда черепаху, которая доставляла столько радости детям. Почти каждый день мы сидели на одном и том же поваленном дереве, наблюдая, как солнце покидает сосны, потом — виноградники и наконец прячется за холм. Нередко мы брали с собой детей. Если нам хотелось побыть одним, мы уходили тайком, но иногда наша хитрость не удавалась, и тогда мы видели две маленькие фигурки, катившиеся по склону, а потом поднимающиеся к нам. Минута отдыха у нас на руках, чтобы перевести дух, — и уже рассказывай им какую-нибудь сказку. Иногда они задумывались, задавали нам трудные вопросы: «А почему солнце ходит так каждый день?» Потом окружающая красота настолько захватывала их, что они переставали тараторить или требовать, чтобы им что-нибудь рассказывали. Как и мы, они не могли отвести глаз от этого величественного зрелища — заката солнца.

— А если оно больше не придет?

Мы отвечали, что завтра, очень рано, еще до того, как они проснутся, солнце вернется и снова озарит то место, где мы сидим.

— И оно будет двигаться всю ночь?

— Да, оно не останавливается никогда, и мы тоже двигаемся, и когда у нас ночь, в других странах — день.

Нет ничего серьезнее, чем разговоры с детьми. Дети бесстрашно ставят и разрешают сложнейшие вопросы, проникают в самую суть вещей. Мы часто говорили с ними о смерти. Не знала я, что очень скоро она коснется их так близко. «Он умер», «она спит», — говорили они, находя иногда возле дома мертвого кузнечика или ящерицу. Никаких проблем. Но скоро все изменится.

Несколько месяцев спустя они узнали, что означает «никогда больше», и тот из них, который страдал сильнее, потому что больше понимал, сказал мне:

— Раз наш папа умер, пусть у нас будет другой, но только похожий на него.

Я пыталась объяснить. Объяснить что? Что любовь...

— Но ведь нельзя любить мертвого, его же никогда больше не увидишь, — отвечал он мне. — А где он теперь? Он нас видит?

— Думаю, нет. Но мы его видим в своих воспоминаниях.

— У меня его глаза и рот, правда? — говорил он мне гордо.

— А у меня его походка.

— Да, верно.

— А где ты его похоронила?

Я отвечала — на холме, я не могла сказать — на кладбище. На холме ... Именно так я хотела бы тебя похоронить: без гроба, одного, у подножия какого-нибудь дерева, там, где мы любили гулять. Почему наши похоронные обряды так мрачны, так неестественны? Похороны на берегах Ганга отнюдь не означают, что люди там страдают меньше, просто они не выставляют свое горе напоказ, считая, что каждый должен справляться с ним сам. Я хотела, что бы наши дети помнили тебя живым и чтобы они никогда не думали о том, что ты истлеешь. Меня эта мысль преследовала много месяцев. Я не могла представить себе, что твое тело, такое изящное, такое красивое, станет отталкивающим; я все время думала об этом, все время. Я говорила себе, что это ничего, ведь это просто химическая реакция,

главное, что ты ничего не знаешь. Но мысленно я видела тебя, твои глаза, губы, ткань твоего костюма, и когда при мне говорили детям, испугавшимся осы или мухи: «Маленькие не едят больших». Я думала: нет, едят, едят до последнего кусочка. Да, я не хотела, чтобы дети тоже думали об этом, но и не хотела говорить им, что ты на небе, потому что это противоречило бы нашим принципам. Я пыталась связать тебя с жизнью. Он превратился в два деревца и цветы, говорила я детям, пчелы летают с цветка на цветок, собирают мед, а мы его едим, вот все и начинается сначала.

Дети реагировали каждый сообразно своему характеру.

— Из такого красивого, как он, — с сияющим видом сказал мне один, — должны вырасти красивые цветы?

Второй промолчал, но задумался. Наутро он пришел ко мне.

— Значит, когда мы едим мед, мы едим кусочек человека? — спросил он.

Я хотела бы, чтобы они любили тебя таким, каким ты был. Что они помнят о тебе? Они мне без конца твердят о какой-то прогулке, о которой я им почти не рассказывала, но она запечатлелась в их памяти. В тот день ты убил небольшую змейку. Тогда, казалось, они не обратили на это особого внимания, но потом прогулка вблизи дома превратилась в настоящую экспедицию, во время которой ты убил страшное чудовище. Ты для них — символ храбрости и ловкости, и когда я рассказываю им о других прогулках, более дальних и более интересных, они неизменно возвращаются к этой.

Они ищут тебя, они хотят тебя узнать или вспомнить, соединив то, что сохранилось в их памяти, с тем, что они создают в своем воображении с помощью фотографий, рассказов о тебе, смутных воспоминаний, внезапно всплывающих откуда-то из глубины, я иногда вижу это, когда какой-нибудь пустяк внезапно поражает их, будит мысль, вызывает желание рыться в их юной памяти, прояснить то, что имеет лишь туманные, расплывчатые очертания; так фотограф наводит на фокус свой объектив, чтобы получить четкое изображение. Они не смогут найти себя, не пройдя через тебя.

Я вижу, насколько они напоминают тебя; и это меня очаровывает и потрясает. Иногда это сходство бывает мимолетно, проявляясь то в одном, то в другом. Какой-нибудь жест, манера зашнуровывать башмаки, просыпаться по утрам, любовь к тому же времени дня, к тому же небу, взгляд, которого я прежде не замечала, хотя, возможно, он и был, но мне казалось, он появился только теперь. Я слушаю и смотрю.

Мысленно я перебираю всю твою жизнь и вижу тебя в том возрасте, когда я тебя не знала. Я пытаюсь соединить свои наблюдения над детьми и твой юношеский облик, и так еще лучше узнаю тебя.

Я пишу, словно мотаю клубок, у которого нет конца. Нить, которую я тяну, ведет меня к тебе, но пробираюсь я не через лабиринт, а скорее по спиралям какой-то раковины. Я пытаюсь добраться до глубины нас самих. Когда мне кажется, что я уже достигла цели, я обнаруживаю, что это только этап, что нужно идти дальше, пересекать пространства воспоминаний и ощущений, сдирать все новые оболочки, и только так я достигну мира, который предугадываю и желаю. Я одна знаю свои поражения и победы. Иногда мне кажется, что я уже сделала шаг вперед, я довольна, как вдруг все рушится: нет ни позвоночника, ни плоти, все растворилось в какой-то кислоте, нить оборвалась, я — крошечное бесформенное пятнышко, безвольный комок нервов.

Идти напролом бесполезно, необходимо сделать отвлекающий маневр, как говорят, «рассеяться», что всегда вызывает у меня отвращение. Я выхожу из дома и иду, не думая ни о чем, я убегаю от себя самой. Моему лицу нужен ветер, моим ногам — твердая почва. Все

забыть, вычеркнуть из памяти. Когда я чувствую усталость, я почти спасена. Я существую. Я возвращаюсь на землю. Я удивляюсь, найдя все на своих местах.

ХП

В тот день на рассвете открыли настежь дверь. Целый день и еще полдня я ехала позади тебя. Я помню только дорогу, которая, казалось, никогда не кончится, деревни, которые мы проезжали, автомобили, которые мы обгоняли, и нас, сопровождающих эту черную, в цветах, машину, от которой я не могла, оторвать глаз. Больше я не помню почти ничего. В тот день я даже не заметила, как после Лиона, по мере продвижения к югу, показались первые кипарисы и первые фонтанчики с питьевой водой, окруженные платанами. Здесь на юге, небо другое, и даже если идет дождь, то и дождь не такой, и ветер порывистый. А ведь раньше мы всегда удивлялись этой перемене и тому, что она все еще поражает нас.

Я помню эту сумасшедшую гонку до мельчайших деталей и в то же время как-то смутно. Черная машина останавливалась около бензоколонки, и мы ждали позади, это было бессмысленно, но мы не могли оставить тебя одного, хотя ты все равно уже был далеко от нас, в твоём теле начался длительный процесс тления. Вечером мы устроились на ночлег. Тебя поставили в гараж. Я бродила около тебя, не зная, что делать, не решаясь уйти и лечь спать, я гладила венки, черный креп, который прикрывал твой гроб, трогала кузов автомобиля. Я долго кружила так. Ведь это было нелепо: ты в гараже, а я наверху, в теплой постели, или ты на стоянке, среди машин, а я завтракаю. Я ела, пила, мне даже не хотелось плакать. Я не думала ни о будущем, ни даже о детях, хотя не видела их уже два дня, а они позже расскажут мне, как весело провели время у своих маленьких друзей.

На второй день мы добрались до кладбища. Там я вернулась к действительности. Я смотрела на море, далекое и серое, как и небо. Я помню, как глухо падали на гроб цветы, этот звук каждый раз отзывался во мне, потом — первые лопаты земли, тяжелый резкий стук, который завершался мягким пианиссимо, когда земля скатывалась по крышке, прежде чем навечно лечь на дно твоей могилы. Мы были в мире одни, ты — погребенный, я — наверху. Мой взгляд проникал сквозь дерево и свинец. Я отдала бы все на свете — да, да, все! — чтоб вдруг увидеть тебя воспрянувшим, живым, прогуляться с тобой, как мы любили, по холму, или молча постоять, посмотреть на море. Десять минут, не больше, а потом пусть будет смерть, пытка — все что угодно, лишь бы еще раз увидеть тебя.

Впервые в жизни я хотела невозможного. Позже один из наших детей попросил меня: «Ведь ты можешь все, сделай так, чтобы он вернулся на один день, только на один-единственный день, мы устроим праздник, мы будем умниками. Он увидит, что нам хорошо». Я вынуждена была объяснить, что это не в моих силах, и поняла, что малыш уже почувствовал смысл страшных слов «ни когда больше» и, как и я, не может примириться с ними.

Начал моросить дождь, часы на башне проббили полдень. Воздух был неподвижен. Капли дождя бесшумно падали на листья деревьев, на каменные стены, оставляя на них темные полосы. Земля постепенно закрывала гроб. И вот уже нет ямы, а только холмик свежей земли, укутанный цветами.

Теперь я знаю, что такое кладбище, как другие знают, что такое мемориальные доски, которые на улицах Парижа после оккупации означают, что кто-то из борцов Сопротивления был убит на этом месте, и при виде такой доски перед глазами близких снова возникают изуродованное пулями лицо, лужа крови, распростертое тело.

В тот миг, когда я ступала на перрон вокзала в Париже, того самого вокзала, куда мы обычно возвращались после каникул (и тут же начинали строить планы на зиму, без сожаления

прощаясь с летом, чтобы с головой уйти в новые заботы), именно в тот миг, когда мое тело было между подножкой вагона и перроном, когда я уже ставила ногу на перрон, я в одно мгновение — ясное и холодное, как нож гильотины, — осознала, какое одиночество ждет меня.

Ураган пронесся, я вышла из него живая. Я ждала сражения, но еще не знала, каково оно будет; я делала свои первые шаги в неведомом мне мире, и у меня не было ни времени, ни желания постараться представить себе его. Спокойствие дома и эта тишина! Вещи... Вот они, на своих местах, обивка мебели чистая, подушки не смяты, как будто ими никогда не пользовались, свежие цветы, книги, последние, что мы прочли вместе, — до них можно дотянуться рукой — и кровать. В памяти всплывало только недавнее прошлое: четыре дня и где-то далеко — начало этого прошлого, операция, потом всего три недели, и по ту сторону пропасти, на другом берегу, — наша жизнь.

Она кончена, кончена навсегда. Время гнало свои волны. Мне оставалось или тонуть, или дышать, но я не хотела, не хотела ни того, ни другого. Жизнь поступала со мной жестоко: «Или живи, или умирай, — говорила она, и я замирала на месте. — Ты не ешь и не спишь, тебе нравится выставлять напоказ свое горе». Жизнь обвиняла меня. Я не была ни трусливой, ни храброй. Дети служили мне опорой: когда они были со мной, я держала себя в руках, их неведение, как и твое совсем недавно, помогало мне. Я стала только фасадом, но были минуты, когда без этого я могла бы рухнуть. Я познала оцепенение, которое является лишь началом смерти. Уснуть, забыться, погрузиться в ночь... Но стоило мне закрыть глаза, слепящий свет вспыхивал перед моими веками. Я училась одиночеству, беспощадному, безоговорочному, оно как голое пространство, которое начинается от вас и тянется до горизонта; ни мысли, ни взгляду не за что зацепиться. Я не знала, чем заполнить дни, на чем остановить мысль. Я была раздавлена тобой, твой образ стоял у меня перед глазами, ты меня душил, все мои видения были связаны только с твоей болезнью, мне хотелось вспомнить нашу прежнюю жизнь, но я была ослеплена твоей смертью. Я не могла освободиться от нее. Мне нужно было вырваться из этого замкнутого круга, но проходили часы и дни, а я пребывала в бездействии. Я заставляла себя делать все необходимое, произносила слова, которых от меня ждали. Я становилась бесплотной тенью.

Я еще не осмеливалась слушать музыку, боясь, что она выведет меня из оцепенения, в котором я находилась, и низвергнет в мир, где меня все ранит, мир, в котором я не смогу жить. Я была безучастна ко всему и не знала, что перетянет — пойду ли я ко дну или спасусь. Инстинкт диктовал мне ритм, которому я следовала. Я проклинала ночь, но не могла избежать ее. Я сохранила достаточно здравого смысла, чтобы понять: бесчестно утверждать, будто ты выше того, чего ты еще не знаешь. Сколько раз мы слышали от богатого, что не в деньгах счастье, от ленивого — что всякое дело — потеря времени, от невежды — что образование еще не делает человека, от холодных женщин — что они выше чувственной любви, а от импотентов — что платоническая любовь самая прекрасная? Преднамеренный и жалкий обман, попытка спутать карты! Но правда и то, что деньги не приносят счастья, что дело может быть никчемным, что образованный человек не обязательно лучший и что любовь — это не только физическое влечение.

Я же, лишь достигнув глубины того, что называют отчаянием, смогла сохранить внутреннее равновесие. Если и был какой-то выход, он вел через мрак и трясину. Чтобы отыскать его, я должна была пройти страшный путь, на который меня бросила твоя смерть, не искать забвения, ничего не оставлять во мраке, ни от чего не бежать и встретить несчастье так, как когда-то встречала радость.

Я бродила по комнатам, окруженная твоими вещами, раздосадованная смятением, ничтожной причиной которого они были. Что делать с зубной щеткой, с бритвой, с туалетной водой, со свитером, отныне бесполезным? Сжечь? Сохранить? Подарить? Бросить в Сену? Сжечь — значило бы удовлетворить чувство абсолюта, сохранить — поддаться минутному соблазну. Неужели я становилась женщиной, живущей только прошлым, обреченной на бесплодное поклонение: перечитывать письма, снова и снова смотреть фотографии, ласкать твою одежду? Я переставила кое-какую мебель, часть ее продала, но я оставила твою книгу там, где положил ее ты, потому что она помогала мне вспомнить твой жест, взгляд, брошенную фразу. Я пыталась остановить время, увековечить тебя, я воздвигала памятники в пустоте. Приходила ночь, я ложилась в нашу постель, я лежала там, застыв, такая же неподвижная, как и ты, словно похороненная вместе с тобой, отрешенная от самой себя.

Я ждала, ничего не ожидая. Так прошли месяцы. Наше имущество описали, подсчитали сумму долгов, оценили стоимость того, что мы вместе создали, «кроме драго ценностей и предметов личного обихода». Я не умерла, но была на грани смерти.

XIII

Я уже не припомню тот день, когда впервые почувствовала, что еще не все потеряно. Была ли это улыбка ребенка, пробудившая меня к жизни, или грустный взгляд, замеченный там, где мне не хотелось бы его видеть? Или чувство ответственности? Измучило ли меня отчаяние? А может, просто жизнь взяла свое? Истина имеет столько граней, что я не могу сказать определенно, что именно дало мне возможность вновь почувствовать под ногами почву. Однажды я отметила про себя, что перестала быть только фасадом. Я жила, дышала. Я снова хотела участвовать в событиях. Постепенно я взяла себя в руки и увидела, что от меня осталось. Вот тогда-то я не то чтобы перестала ощущать одиночество, но попыталась свыкнуться с ним.

И я сроднилась с ним, теперь мы хорошо познакомились друг с другом, и я умею смотреть ему прямо в глаза. Я говорю о нем с друзьями, которые всегда считали его естественным. Для меня же в мире нет ничего прекраснее супружеской пары, и когда я слышу разговоры, будто любить, — это значит потерять свою свободу и свою целостность, я спрашиваю себя: неужели мы говорим об одном и том же чувстве?

Я вспоминаю один вечер: я перелистывала страницы какой-то книги, и мой взгляд упал на фотографию скульптуры, которую мы часто разглядывали вместе, — торс женщины, как крик радости, устремленный к небу. Я застыла в оцепенении, но не перевернула страницу. Прошлое всколыхнулось во мне снова, я увидела фильм без конца, услышала песню победы, — все это сломано одним ноябрьским днем. Мне показалось, что я выбралась из трясины. Я была одна в своей комнате, но почувствовала, что снова живу; комната показалась мне иной, не такой, как в другие дни. Я опять втянулась в круговорот жизни и поняла, что вновь обрела способность наслаждаться прекрасным.

И тем не менее все причиняло мне боль, и особенно взгляды, которыми, словно заговорщики в толпе, обмениваются между собой любящие супруги; эти взгляды, словно две птицы вместе реют над шумом голосов, дымом сигарет и стаканами с виски. Для этих людей в мире не существует никого, кроме них, их встреча все поставила на место, жизнь кажется справедливой, им все равно, что их слышат, что о них говорят; птицы здесь, думают они, птицы охраняют нас, и сейчас, когда мы будем на улице одни, мы снова увидим их. Две мои птицы умерли, но я не могу без трепета смотреть, как летают птицы других, и безошибочно угадываю их.

И я с удивлением пришла к выводу, что любящие супруги встречаются очень редко.

Я никогда не относилась к смерти с такой легкостью, как в те времена, когда была счастлива. Тогда мне было почти безразлично — жить или умереть. Теперь мои мысли всецело поглощала смерть. Я думала о ней, пересекая улицу, ведя машину. Пустячный насморк... но он может перейти в гиперемию. Легкое недомогание... а вдруг за этим скрывается тяжелая болезнь? Я выходила из своего оцепенения, чтобы войти в этот живой мир, которого я боялась и где все меня ранило. Я не знала, сколько это будет длиться. Я вспоминаю, какое волнение охватило меня в Порт де ла Виллет при виде грузовика с лошадьми, которых везли на бойню. Эти обреченные животные — даже животные! — снова привели мои мысли к тебе. Как-то вечером в автобусе я не могла оторвать взгляда от одной безделушки — маленького черепа из слоновой кости, — болтавшейся на золотой цепочке. Девушка, которой принадлежала эта безделушка, была красивая, очень юная, с подведенными глазами и бледными губами, я мысленно сорвала мясо с ее костей, добралась до скелета и вдруг увидела два черепа, которые потом превратились в один, в тот, который меня неотступно преследовал.

Я избегала бывать на площади Сен-Сюльпис, где часто ходила во время твоей болезни. В те дни, как-то утром, я обратила внимание на магазин похоронных принадлежностей, так удобно расположенный около церкви. На витрине были выставлены прекрасные фотографии с изображением пышных похорон, добротные гробы, окруженные громадными свечами. Меня хлестнула мысль: сюда придут заказывать все это и для тебя. Я не ускорила шаг, и все-таки тысячи черных птиц били крыльями в моей груди. У меня было только одно желание — увидеть тебя, коснуться тебя. Когда я вошла в нашу спальню, ты еще спал. Я на цыпочках вышла и, дожидаясь, когда ты проснешься, взяла книгу. По правде сказать, я не прочла ни строчки, но немного успокоилась. Когда ты позвал меня, я подошла к тебе со спокойным лицом, как обычно, и, целуя тебя, в отчаянии наслаждалась осколками счастья, которые еще принадлежали мне. Вал надвигался, я знала, что бессильна перед ним, и все же продолжала бороться шаг за шагом. Когда я шла по площади Сен-Сюльпис, я хотела только одного — увидеть тебя живым. Я довольствовалась крохами, которые пожирала, как голодающая. Что оставалось от нашего гордого счастья? Но ты хорошо поспал, чувствовал себя менее усталым, чем накануне. Ты залпом проглотил свой кофе с молоком и почти целую булку: «Я голоден, я голоден». Я видела твои глаза, такие бесцветные, с покрасневшими веками. «Уже три дня как я вернулся из клиники, время летит быстро», — сказал ты мне. Ты ни о чем не догадывался. Это было после твоей операции, в утро, ничем не отличавшееся от других. Ты говорил, я слушала тебя и думала, куда же заведет меня жестокий долг и любовь к тебе. И снова находила те границы, которые определила в ночь после операции: лишь бы ты не страдал, лишь бы ты ни о чем не догадался. Только это я должна была принимать во внимание. Я заглядывала в самую глубину твоей души, и ты раскрывал ее. Сколько лет или минут понадобилось нам на то, что бы достичь этих тайников, еще более глубоких, чем чувство, в котором разум и инстинкт сливаются воедино? Мне нравились наше стремление к трудностям, наше недоверие к легковесным переживаниям. Мы оба хотели, чтобы ничто не оставляло нас равнодушными, даже то, что, казалось, меньше всего способно воспламенить. С тех пор как родилась наша любовь, мы не переставали изучать, узнавать друг друга. Мы открыли друг другу свои души и, обезоруженные, отбросили закон джунглей.

Когда ты еще был со мной, я мечтала о нашем последнем разговоре. Я хотела, чтобы ты рассказал мне обо всем — о себе, о нас, о людях, о том, что ты думал о каждой вещи и о каждом событии, хотела, чтобы все то, что ты мне будешь говорить, шептать, повторять, убаюкивало бы меня, хотела засыпать и просыпаться под звук твоего голоса, насыщаться им, жить только им.

В последний вечер я уже отложила книгу, а ты еще продолжал читать. Ты спросил меня, не мешает ли мне свет. Нет, он не мешал, он позволял мне смотреть на тебя сквозь полузакрытые веки. Я слушала, как ты переворачиваешь страницы, все мне было позволено, нельзя было только плакать, но мне вовсе не хотелось плакать. Я хотела вспоминать прожитые вместе годы, но не решалась сказать тебе об этом. Не в наших обычаях было воскрешать прошлое, и тебе могло бы показаться странным, почему вдруг я думаю о том, что было, а не о том, что будет. Поэтому я пустилась в воспоминания одна, а ты в это время читал или дремал.

Наша общая жизнь... Сначала это был какой-нибудь час, день, потом — месяц. Я спиралью сворачивалась в этом маленьком, слишком тесном прошлом. Я знала, оно будет больше, но мы об этом никогда не говорили. Были порывы, и была сдержанность. Мы присматривались друг к другу, держались настороженно и искали какой-то затаенный смысл в каждом слове другого. Неопределенная форма служила нам переходом от «я» к «мы». Мы пользовались ею долго. Однажды появилось «мы», сказанное как бы случайно, но вскоре оно было отброшено: наверное, мы еще не были готовы к нему. Потом неопределенная форма стала употребляться все реже. Мы начинали строить нашу совместную жизнь, и в тот день, когда это было принято и признано, мы поняли, что уже давно стремились к ней. Вдруг оказалось, что мы богаты, — нас обогатили бесчисленные мгновенья, события, пережитые вместе и сохранившиеся в нашей памяти потому, что они нас объединяли. Иногда чье-то присутствие придавало нам больше смелости. Я рассказывала о прогулке под дождем, ты говорил, что небо, затянутое тучами, может быть прекрасно и что ты видел яблоневый сад, где бурей сорвало все цветы. Одни мы не промолвили бы ни слова об этой прогулке, которая нас сблизила. Мы привыкали друг к другу. Это был долгий труд, который так захватывал нас, что иногда мы пугались. Тогда, сделав крутой поворот, без всяких объяснений, мы переставали видеться.

Уже в то время наша любовь была слишком гордой, чтобы мы могли допустить хотя бы частицу тщеславия. Наши побуждения были благородны. Мы верили друг другу, но нуждались в этих остановках, чтобы разобраться в своих чувствах, убедить себя, что пока мы еще свободны в выборе нашего будущего, независимы в своих действиях и своих вкусах. Потом мы снова находили друг друга и скрывали волнение, уверенные, что кажемся неуязвимыми. Как нравилась мне эта дистанция, которую мы соблюдали!

Наша встреча могла бы быть лишь прекрасным мгновеньем, чудесным воспоминанием, могла бы никак не изменить нашу жизнь. Нет ничего более рискованного, чем мелкая интрижка. Мы не вкладываем в нее душу и поэтому думаем, что сберегаем себя, но делаем это так неумело, что, растрчивая слова, которые не соответствуют чувствам, мы от встречи к встрече постепенно растрчиваем себя, как ткань, которую время пожирает прежде, чем она послужит своему назначению.

XIV

В день похорон, когда я ушла с кладбища, я поняла, что буду приходить туда часто. Я могла бы остаться прежней, так же любить тебя, но больше никогда не ходить на твою могилу. В первый вечер, закрывая ставни в своей комнате, я вдруг увидела небо, огромное, безлунное, давящее. Я была одна на земле. Я хотела бы, чтобы меня унесли с собой тучи, которые плыли надо мной. Я задернула шторы — так зверек закапывается в свою нору. Не нужно больше смотреть на небо и вообще делать что-либо из того, что я любила раньше. Как я встречу с детьми? Три дня я совсем не думала о них.

На следующий день я пришла проведать тебя. Бессмысленное свидание, еще один безответный монолог. Я находилась за пределами действительности, и у меня не было сил вернуться к ней. Как я ни уговаривала себя, все было тщетно. Вот она, твоя могила, я смотрела на нее, бесцельно трогала землю, я начинала думать, что сейчас ты придешь, что ты просто опоздал немного, как обычно, и скоро я почувствую, что ты рядом, и мы вместе будем смотреть на эту могилу, едва присыпанную свежей землей.

Я прекрасно сознавала, что ты умер, но галлюцинация начиналась снова. Тебя нет, значит, ты ждешь меня в машине, и какая-то безумная надежда — я знала, что она безумная, — охватывала меня. «Да, он в машине». И найдя ее пустой, я снова успокаивала себя, давала себе отсрочку: «Он гуляет по холму». Я спускалась к дому и, беседуя с друзьями, высматривала тебя на дороге, конечно же, сама себе не веря.

В тот же вечер я вернулась в Париж. Мне казалось, я снова предала тебя. Я ведь только это и делала день за днем в течение трех недель, с той минуты, как тебя увезли на каталке по длинному белоснежному коридору, предоставляла тебя твоей судьбе; я сопровождала тебя, шла за тобой до конца, но оставалась в мире живых, в то время как ты, не зная этого, уходил из него, и я читала предстоящую разлуку в твоих глазах и твоей улыбке.

Я вернулась к тебе на следующее лето. Первые каникулы без тебя. Когда я покидала Париж, стояла ужасная жара. На рассвете я увидела гряду холмов, кипарисы, виноградники, потом — море, которое, казалось, рождается из тумана и едва отличимо от неба. Я снова увидела эту бесцветную трепещущую дымку и поняла, что, не признаваясь самой себе, я опять готовилась к свиданию с тобой, и именно эта сокровенная мысль заставила меня вернуться. Снова возникла раздвоенность — бежать от тебя и стремиться к тебе, идти на кладбище на свидание с тобой и говорить или думать, что отныне ты будешь жить только в памяти и в наших детях. Вопреки рассудку я стремилась к тебе, хотя знала, что тебя больше нет, стремилась к тебе такому, каким видела перед тем, как люди в черном упрятали тебя в тонкое полотно и свинец. Я спешила к тебе, чтобы увидеть два дерева и каменный бордюрик. На что еще могла я надеяться?

Я ехала быстро, сердце мое отчаянно колотилось. Погода была чудесная, и дети пели. Дом совсем не изменился, и это поразило меня. Я ожидала увидеть сама не знаю что — разгром, поле битвы, развалины, сожженные деревья, землю, покрытую пеплом, голые виноградники, но все сохранило свое неизменное очарование. Стрекотание кузнечиков, ветер в платанах, рыжие и зеленые сосны, высокая трава, выжженные солнцем лужайки, бугенвиллеи, одичавшая герань, буйно разросшиеся глицинии. Никаких следов битвы на земле Вергилия, как я ее называла.

Я ничего не смогу изменить в мире из-за того, что тебя больше нет на земле. Я отпустила детей и поднялась к тебе. Солнце стояло в зените, это был гибельный для цветов час. Деревья выросли, земля осела. Я всегда считала, что кладбище умиротворяет. Мы любили приходить на могилу Ван Гога и Тео в Овере. Мы любили плющ, который их укрывал, мы говорили: пусть на кладбище покой и безмятежность, а все-таки хорошо вернуться домой, согреться вечерком у камина, чувствовать, что нас двое, смотреть, как поднимается луна, слушать сову, доверчиво внимать тишине. Но в тот день, когда я была наедине с тобой, и почти черные кипарисы, и голубое небо, и легкий ветерок были только декорацией. Мой взгляд влекло к тому, что было скрыто, к жизни под землей, жизни нечеловеческой, где каждый тлел в одиночестве, и ты — тоже, всего в метре от меня.

Сколько потребуется лет — наверное, несколько веков, не меньше, — чтобы элементы, из которых ты состоял, соединились с землей и чтобы ты снова стал пылью, солью земли,

несколькими горстями песка, который будущий человек пропустит между пальцев, как это любили делать мы, с закрытыми глазами растянувшись на пляже лицом к солнцу, раскинув руки, погрузив ладони в песок и наслаждаясь его нежным, живым теплом.

Миллиарды клеточек, соединившихся, чтобы создать любимое мною существо, которое уже никогда больше не повторится, представлялись мне звездным дождем. Я вдруг почувствовала способность рассуждать здраво. Встречи не было. Была я одна перед тобой мертвым, я — перед пустотой. Я могла сколько угодно воскрешать в памяти твой голос, твои жесты, наши беседы, я могла выдумывать настоящее, сочинять воображаемые диалоги, но на самом деле я не должна была ничего ждать от тебя. Ты ушел из мира, ушел навсегда. Какой-то тихий беспощадный голос, который я хорошо знала, твердил мне. «Живи или умирай, но реши, нужно сделать выбор».

В тот день я поняла, что еще не готова к этому, может быть, я сумею сделать это завтра, может — через десять лет, а может — никогда. Возвращаясь, я увидела с дороги детей, они играли — разыскали свои игрушки, поставили маленький белый столик. Они готовились к лету.

Я чуть было не разрушила их радость и не повела их наверх, чтобы рассказать им, что в мире нет справедливости, но проявила благоразумие и пошла прогуляться с ними — как обычно. За год молодые виноградники разрослись, на некоторых лозах уже появились первые гроздья.

Жизнь продолжалась. И я, уже в который раз, решила — хотя знала, что тоска и чувство одиночества еще не раз вернутся ко мне, — тоже продолжать жить. Подобно умному саженцу применяться к ритму сезона, дышать полной грудью, говорить «да» и чувствовать удары своего сердца. Дети были ласковы, оба держали меня за руки, я боялась, как бы они не догадались о моей растерянности. Я вновь ощутила свою ответственность за них и, стало быть, на сегодня была спасена. Я предложила рассказать им сказку, но какую?

— Расскажи про маленького бычка.

И я рассказала про маленького черного бычка, который счастливо жил в Камарге со своей мамой, но однажды люди пришли за ним и отправили его на бой быков...

— Он не умрет, правда?

— Конечно, нет, он преодолеет все препятствия.

— Если он и вправду не умрет, пусть на его пути будет как можно больше опасностей.

Я подробно рассказала, что сделал бычок, чтобы тореадор его не убил. Это был умный, хитрый бычок, он умел определять время по часам и знал, что после пятнадцати минут борьбы его жизнь будет спасена. Он храбро сражался, ни разу не дав противнику приблизиться к себе, он понял, что орудие смерти спрятано у тореадора под красным плащом. Все смеялись, потому что бычок перехитрил человека, и, когда пробили часы, с трибун раздалась буря аплодисментов. Толпа стоя кричала: «Viva el toro!» В тот же вечер бычок вернулся домой. Это был первый случай, когда бык вернулся с арены. Его встретили как героя, и, конечно, он женился, и у него было много детей.

Дети слушали. Неожиданно для себя мы обнаружили, что уже не идем, а сидим на нашем любимом бревне. Я научилась следовать за двумя мыслями сразу, я слышала свой голос, это была, конечно, я, но настолько изуродованная твоим отсутствием, что с трудом узнавала себя. Все вокруг было несказанно прекрасно. Лучи солнца прорезали небо, как будто оно служило лишь экраном для тех образов, которые я вызывала к жизни; это было похоже на фейерверк, сладостный и жестокий, расплывавшийся в воздухе, или на молнии, которые, словно частицы тебя, прямым попаданием жестоко разили меня, но не убивали. Мне хотелось взглядом поймать в этом фейерверке твою улыбку, наш согласованный шаг, наши ноги, одновременно

ступающие на землю, мои руки, раскрытые навстречу тебе на пороге дома, и то, как ты, когда мы приезжали сюда, вдыхал первый глоток воздуха, словно провозглашая: «Здесь и сейчас начинаются наши каникулы!» Ты был неоконченной фугой, прерванным арабеском. Я видела твое будущее, остановленное и замененное словами: он был. Как бы мне хотелось проспрягать этот глагол в будущем времени: «Я всегда буду счастливой женщиной, ты всегда будешь счастливым мужчиной...»

Сказка кончилась. Дети ушли. Я видела, как они идут, очаровательные, хрупкие, как обещание, две юные жизни, за которые я была в ответе и которые нужно было вести к гавани. Но к какой? Смогу ли я оградить их от трудностей, которые испытали мы? И нужно ли это делать? Разве не самое главное, чтобы они чувствовали в себе достаточно силы, достаточно любви для того, чтобы смело встретить жизнь и полюбить битву? Время их возмужания придет быстро, мне кажется, что я уже вижу его. Я вижу наших детей счастливыми, красивыми, может быть, я обманываюсь, но это так прекрасно — черпать в этом радость.

XV

Каникулы прошли среди детского смеха. Я покорно ходила на те же самые пляжи или, в зависимости от погоды, к тем же самым скалам, куда когда-то мы ходили вместе. Только по одной дороге я не ходила никогда. По сторонам она вся заросла тростником, его стебли почти соединялись над головой, и машина, проезжая, раздвигала их в стороны. Тростник шелестел по кузову, и это приводило детей в восторг, они вставали во весь рост, чтобы схватить тростинку, и нам приходилось ехать медленно из страха, что они поранятся. Это было настоящее приключение — девственный лес на берегу моря. Едва выйдя из машины, дети раздевались и нагишом, размахивая тростником, словно орифламмами, бежали на раскаленный песок. Как только их ноги касались неподвижного моря, они останавливались, ожидая нас. Первое утреннее купанье всегда было самое шумное. Мы поднимали каскады брызг. Ты брал по очереди детей, высоко подбрасывал и ловил в тот момент, когда они касались воды. Дети вопили от радости: «Еще, еще!.. Теперь меня!» Но ты быстро уставал. «Еще один-единственный разочек!» — умоляли они, и ты говорил: «Хорошо, еще по одному разу, и все».

Я и сейчас слышу их смех, вдруг обрывающийся на долю секунды, когда, повиснув в воздухе, как мячик, они сдерживали дыхание, отдаваясь во власть того крошечного страха, который дети любят испытывать, если чувствуют себя в безопасности. Потом они играли одни, а мы, растянувшись на белом песке, нежились под солнцем. Дети понемногу утихомиривались, но вскоре мы слышали воинственный клич индейцев, означавший, что принято решение строить какой-нибудь шалаш, обычно так и остававшийся незаконченным, — то есть яму, прикрытую со всех сторон тростником, увенчанную полотенцем и, если в дюнах уже распускались морские лилии, украшенную цветами. Эти цветы я ношу теперь на твою могилу.

Первую половину лета я прожила какой-то нереальной, двойной жизнью. Никогда еще я не ощущала так остро ласку солнца и воды, запах соли на коже. Я ждала, когда кончится день, чтобы подняться к тебе. Это уже не было свиданием с тобой, просто я шла посмотреть на землю, которая скрывала тебя, на деревья, которые обвивали тебя своими корнями. Я поливала молоденькие саженцы и еще нежный плющ, который палило солнце. Земля пила воду шумно, почти как человек.

Я возвращалась. Дети — требовательные, добрые и веселые — завладевали мною. Я подчинялась им, это было приятно, они любили меня, они были жизнью. Я чувствовала голод, у меня снова появился аппетит, но я старалась не замечать слишком ясных ночей. Я знала,

за ставнями луна заливает своим светом приморские сосны, лощину и зеленые дубы. Мне хотелось подняться на холм и растянуться подле тебя. Но я не чувствовала себя достаточно сильной, чтобы сделать это. Я читала.

К концу лета твоя могила стала для меня привычной. Часто, находясь вдали от нее, я думала о ней и внешне оставалась спокойной. Я мысленно представляла себе, как тянут вверх свои ветви дерева. Я точно знала, когда они перерастут ограду и когда их верхушки увидят море. Я знала, когда их тень играет над тобой, какие ветры кольшут их кроны. Где бы я ни была, стоило мне захотеть, и я слышала шум дороги, голоса деревни, завывание мистралья, шквалы восточного ветра, дождь, скрип железной калитки, которую толкает входящий. Да, я знала все звуки, которые долетают до тебя. И я знала, в котором часу птицы прилетают пить с цветов капельки росы.

XVI

Идут месяцы, годы, сменяются лета и зимы. Вот и снова весна. В неподвижном воздухе она накатывается на меня волнами. Она то дарует мне, то вновь отнимает у меня силу и надежду. Иногда вкрадчивая, иногда давящая, она проникает в самую глубину души. Достаточно частички ее, смешанной с неожиданно теплым воздухом, птичьего щебетания, почки, лопнувшей на дереве в нашем дворе, шума дождя, взрыва смеха за окном, чтобы все снова стало зыбким. Спокойствие, которое, мне казалось, я обрела, мудрость, которой я гордилась, принятые решения, примирение с действительностью, усмиренное возмущение, приглушенное горе, мои прекрасные прочные замки сразу оказываются замками, построенными на песке. Ураган рядом, он дремлет, готовый обрушиться на меня, как только небо станет нежным, как только появятся первые зеленые ростки, которые создают хрупкое гало вокруг деревьев.

«Уже весна, я надену белые носки, все мои подружки так ходят!» — кричит мне дочка.

Да, инстинкт очень живуч, он чувствует, он знает, он всегда прав. Разум отмечает, что все это закономерно, но он не в силах заставить меня унять дрожь. Тело не обманывает никогда, оно может призвать к порядку. Я чувствую себя вялой, охваченной бесконечной усталостью. А когда я выхожу из оцепенения, мною овладевает то безумный гнев, то горе. Это возмутительно, что тебя здесь нет. Я часто наблюдаю за двумя старушками. Чуть ли не час они одолевают кусочек улицы, что виден из моего окна. Одна из них согнулась почти под прямым углом, другая ее поддерживает; они идут, никого не видя, не произнося ни слова, две заводные куклы, одетые в черное, с серыми лицами, по которым нельзя даже догадаться, какими они были в молодости. Знают ли они, что наступила весна? И неужели только потому, что они еще могут двигаться и сердца их бьются, можно сказать, что они живут? А может быть, они еще больше дорожат жизнью, чем юноша в расцвете сил, готовый умереть ради того, что он любит, и чем тот красивый молодой мужчина, каким был ты, который говорил: «Я хотел бы умереть молодым!»

Весна причиняет мне боль. Мне хочется просить у нее пощады. Каждый год я надеюсь, что смогу наслаждаться ею или совсем забуду ее вкус. Значит, я не продвинулась вперед ни на шаг? Неужели я словно белка в колесе? И смогу ли я когда-нибудь спокойно свернуться клубочком в своей кровати?

Весенний воздух заставляет меня грезить о прошлом и о том, что было бы, если бы ты был со мною. Я знаю, что эти грезы — просто неспособность жить настоящим. Я плыву по течению, не заглядывая слишком далеко или слишком глубоко. Я жду момента, когда вновь стану сильной. Он настанет, я знаю, я еще не утратила вкуса к жизни. Я хочу спастись, но не хочу освободиться от тебя.